

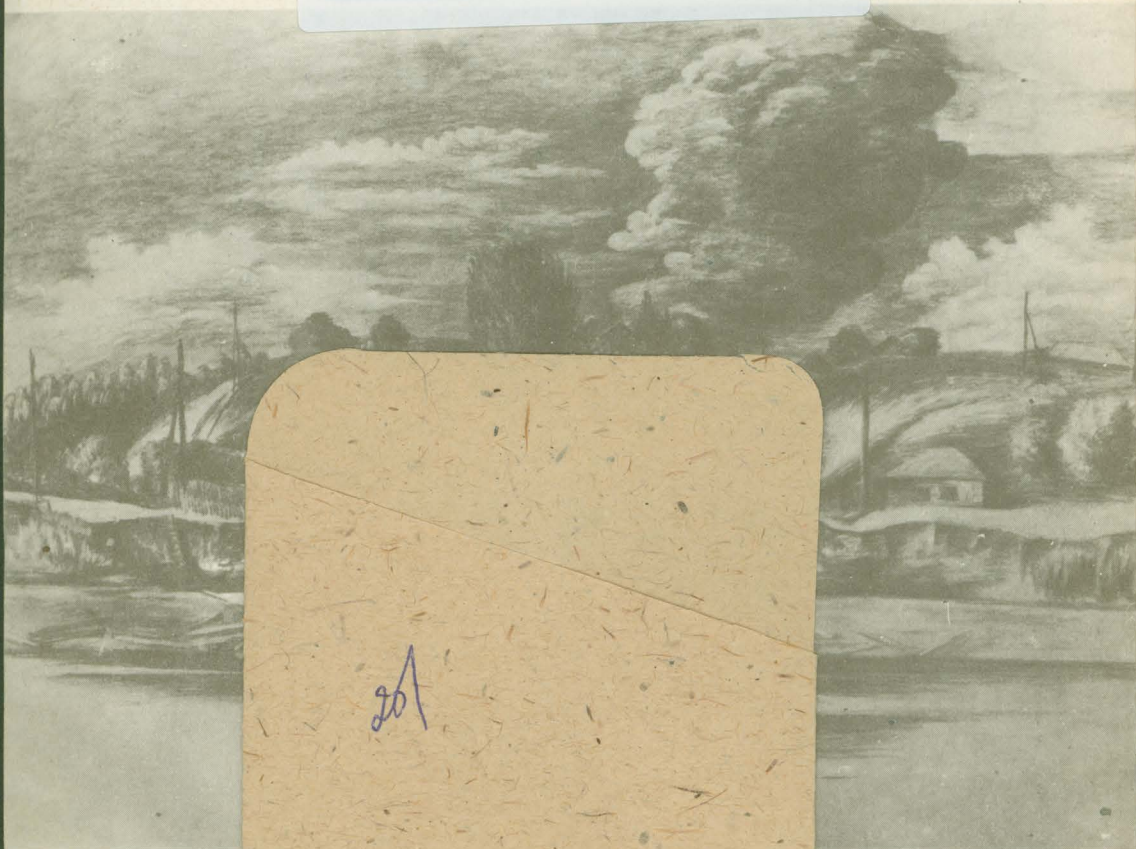
84P7 (2P-4 km)

ISSN 0235-7976

A 64

Литературный
2•1991 **КУЗБАСС**





201

84р7(2р-4к.см)
Л64

ЛИТЕРАТУРНЫЙ № 2 (112) КУЗБАСС

Год издания — 43-й

ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит
ежеквартально

Редактор:
Владимир МАЗАЕВ

Редакционная
коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ
(отв. секретарь)

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

Александр КАЗАРКИН

Валентин МАХАЛОВ

Любовь НИКОНОВА

Виль РУДИН



390886

Кемеровское
книжное
издательство
1991

В НОМЕРЕ

Любовь Никонova. Хожение по святым местам . . . 3

ПОЭЗИЯ

Я ношу российский крест..

Тамара Рубцова. «Былинка вздрогнет на ветру...»;
Русь; «Из сибирских родом мест...» 18

Тамара Страхова. «Жить в России и битым не быть...»;
«Сорвавшийся крик...»; «Живем от взрыва и до взрыва...» 14

Надежда Ма Динь. Дом; «И только сегодня мне — воз-
дух...»; «Вот и мой колокольчик эвенит под дугой...» . . 14

Александр Глазырин. «Одну надежду берегу...»; «Пове-
лела мне пожарница...»; «Ходим парком навстречу друг
другу...»; Монолог бомжа; Письмо Ординарцева своей
подруге 61

Александр Катков. «Россия не во мгле — в очередях...»;
«Это я — моя отчизна...»; Поезд 71

Иосиф Куралов. Заметки отрицательного героя 72

ПРОЗА

Виль Рудин. Три года дьявольщины. Повесть . . . 15

Любовь Скорик. Одна моя знакомая мышь; Косотлазый
проводник; Мой приятель Правый Унт. Новеллы . . 62

Адрес редакции:
650099, Кемерово, 99
проспект Советский, 40
тел. 26-85-14

Редакция рукописи
не рецензирует, а только
сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее
двух печатных листов
не возвращаются

На первой стр.
обложки

Художник-монументалист
Александр Работнов. Фраг-
менты росписи Храма Свя-
того Георгия в Кемерово:
Спас на престоле

На четвертой стр.
обложки:

Святой Иоанн Кронштадт-
ский;
Святой Николай Чудотво-
рец.

Ведущий редактор
Н. Н. Соколова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректоры
Е. А. Царева,
С. А. Мазаева

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. А. БУНИНА

А. Казаркин. «Теперь ты мысль. Ты вечен...»	74
Евгений Конюшенко. Рай и Вавилон Ивана Бунина . . .	75
И. А. Бунин. Окаянные дни	77
И. А. Бунин. Стихотворения	86

БЫЛОЕ

С. П. Мельгунов. Красный террор в России	87
--	----

ПОЛЮСА СМЕХА

Владимир Ширяев. Зло и добро; «Не ходи босиком...»; «Что жена — в наркологии...»; Мыслящий камень; Про- щание с эзоповым языком	111
Виктор Баянов. Сенокосною порой	112



Сдано в набор 01.02.91. Подписано к печати 06.06.91. Формат 70X90^{1/16}. Бумага офсетная № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,19. Усл. кр.-отт. 8,92. Уч.-изд. л. 10,09. Тираж 2000 экз. Заказ № 448. Цена 1 р. Кемеровское книжное издательство. Кемеровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

Л 4702010200—26 91
М 145(03)—91

© Коллектив авторов этой книги, 1991

Любовь Никонова

ХОЖДЕНИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

Белокаменная церковь в заволжском селе Владимировка, на моей родине, внешне похожа на московскую церковь Вознесения Господня у Никитских ворот, на ту самую, в которой венчался Пушкин. Близки они и по возрасту (сооружены на рубеже 30-х годов прошлого столетия).

Двадцатый век принес им много скорбей.

Столичная церковь только в наши дни обретает себя вновь.

Ну, а храм в моем селе, храм святого равноапостольного великого князя Владимира уже сравнительно давно соответствует своему духовному назначению, хотя в 30-е годы не избежал общей церковной участи: колокол его был сброшен с колокольни и разбит, а помещение храма приспособили под «общий двор» для колхозных быков.

После войны за открытие церкви во Владимировке хлопотала неграмотная крестьянка Настасья Зайчикова. Она прошла все возможные коридоры власти и добилась своего. Благодаря ей вернулся во Владимировку храм, один на сотни верст, на десятки окрестных деревень, один на всю самарскую, наполненную зримым голубоватым воздухом, степь.

Подъезжающий к Владимировке, с любой стороны, путник видит издалика эту легкую, будто парящую в воз-

духе церковь, удивляется этому сияющему, в белых одеждах, строению среди бесконечных равнин и, возможно, на мгновение испытывает древнее чувство паломника — чувство сокровенной встречи...

Мое детство заполнено тихими шагами странников, паломников и богомольцев, притекавших во Владимировку со всего Среднего Поволжья. Смотрю на них сквозь золотистую солнечную пыль, сквозь степное летнее марево: странные люди, пешеходствующие по равнинам... Идут из Хвалынска, из Большой Глушицы, из Оренбуржья, из Богородска, из мордовских земель, из мест, которые чудно называются Чердаклы да Исаклы, Бугульма да Шентала, и из бесчисленных русских Марьевок, Алексеевок, Орловок, Липовок, Ольховок и Березовок. Движущиеся колонии судеб. К престольному празднику, к князю Владимиру. Со словесной иконой — с молитвой в сердце. В единственный, действующий среди огромных пространств храм. Всем этим запыленным пешеходам открыла путь во Владимировку обыкновенная верующая крестьянка Настасья Зайчикова.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Позже и я прошла некоторыми паломническими путями. И три источника благодати на земле (кроме родной Владимировки) стали для меня

особенно притягательны: Русский Север, Киево-Печерская Лавра и духовные места Москвы и Подмосковья. Вот главный паломнический треугольник. Почему он так сложился? Почему вообще существует у какой-то категории людей — даже в конце двадцатого века! — эта тяга ходить по святым местам?

Я спросила у матери, не было ли в нашем роду каких-либо калик перехожих и странников, и узнала о маминной прабабушке Лексе, ходившей и в Троице-Сергиеву Лавру, и в Киев, и в северные края, на Белоозеро...

Выходит, наши маршруты совпадают! Выходит, информация о трех источниках благодати, к которым припадала Лекса, не исчезла с ее исходом, но благополучно передана по лабиринтам крови мне, ее далекой праправнучке: бери, узнавай, иди. Направления пути давно разработаны, святыни обозначены, дороги проложены. Готовая живая карта религиозных странствий заложена в твою генную память, сообщены указания, дано благословение — не избежишь участи, не откажешься, ступай с Богом!

СЕВЕРНАЯ СЯТЫНЯ

Главное богатство России, по-моему, воздух. Это постигаешь в пути. Очень много воздуху. Вольготно дышат ровные просторы. Приволье — это и есть свобода дыхания, широта легких.

Русский человек живет, в основном, легкими. Не пищей, даже не водой, а воздухом. Духом.

Много духа отпущено России. Оттого, наверное, так много в ней метафизики, оттого фантастична ее судьба.

Даже сегодня, потеряв в экологических бедствиях целые «культурные слои» воздуха, она все еще располагает огромным его богатством, а что же было во времена предков? Какая же

благодать стояла тогда над Россией? Потому-то и наполнена она была святыми и называлась Святой Русью. Святые выкристаллизовывались прямо из воздуха. Все они — и десятки общерусских, и сотни местных, и тысячи неведомых — были детьми и жителями уникальной воздушной среды. Чистота дыхания, прозрачность материи, пронизанной светом Божьей Правды, легкость «хождения» по земле, ненадрывные светлые подвиги труда, молитвы и поста, ясность разума и тишина сердца — все это было естественным состоянием наших святых, которых создавала сама природа, осененная касаниями Святого Духа.

«Иго Мое — благо, и бремя Мое легко». Это становится понятно, когда оказываешься на Русском Севере, где-нибудь на берегу Сиверского озера, у стен Кирилло-Белозерского монастыря.

Уже одно только внешнее, зрительное впечатление от этого белокаменного града с его башнями, храмами и трехъярусными стенами влагает в вашу душу вечную картину на будущее. Старое зодчество работало на века. Забыть великолепие этой архитектуры невозможно. Впечатление может усиливаться знанием истории — церковной, гражданской, военной. Три эти вектора истории пронзительно скрещиваются здесь, в сердце Северной Руси.

Впечатление развивается и в философском плане, хотя бы так: для строителей этих сооружений, видимо, не существовало понятий длины, ширины и высоты — для них существовали даль, ширь и высь... Монастырь помещен в трех слоях мира: на земле, которая держит его основание; в небе, куда уходят его башни и церкви, и в воде, где он отражается.

Но у паломника, даже современного, уже эклектичного, поверхностного, уже разбавившего высокую кровь ду-

ха халтурной водичкой цивилизации, уже свыкшегося с музейной условностью новейшей истории монастыря — все-таки возникают здесь и свои особые чувства. Это — ощущение долгожданной встречи с благодатью Божьей, которая, будучи стяженной здесь издревле, преодолагает любую условность и музеефикацию.

Инок Кирилл, пришедший сюда из московского Симонова монастыря в 1397 году и основавший обитель, был учеником и любимым собеседником преподобного Сергия Радонежского, игумена Земли Русской.

Самого Сергия уже не было в живых, когда Кирилл принес в северную глушь его святое благословение, его смиренномудрую науку подвижничества, его заветы. Кроме того, у Сергиева ученика, угодника Божия Кирилла было свойство, для нас теперь уже совсем странное и непостижимое, — умение умиляться и лить слезы умиления. Берега Сиверского озера политы чистейшими слезами этого великого пустытника. Здесь плакал Кирилл — вот, пожалуй, нерв паломнического переживания на Сиверском озере. Трепетная натура святого отвечала благодарными слезами Тому, Кто «есть любовь» и Чья Матерь привела его в северные леса из Старого Симонова: «Кирилл, выйди отсюда и иди на Белоозеро. Там я уготовила тебе место, где можешь спастись».

Итак, это место было облюбовано самой Богородицей.

Паломнику это говорит о многом — и здесь, в краю Богородицы, на берегу северного озера, содержащего как бы светозарную чашу слез святого Кирилла, он очищается от шлака безлюбивой жизни, от бытового, экологического, политического, психоэнергетического яда.

Но между сердцем и Божьей благодатью очень часто воздвигается преграда. Есть силы противодействия. И

даже чем глубже излучение благодати, тем изобретательнее сопротивление. Вот и Кирилло-Белозерский монастырь со всей своей духовной памятью, с прилегающими землями, освященными Богородицей, с чашей слез Кирилловых, — по приговору поворотчиков рек — должен был навсегда уйти под воду. Святую землю решено было утопить.

Можно ли сейчас, после «обуздания» проекта поворота северных рек, сказать окончательно, что северная святость спасена? И что-то еще придумает антидух против Духа? Чем дальше, тем изощреннее, разрушительнее, неотразимее становятся его роковые приемы борьбы. На многих ценностях пытается он установить знак перевернутого креста.

И тут следует сказать: «Держись, человек. Да поможет тебе древний путеводитель по святыням, полученный от предков и запечатленный в твоей генной программе».

ДИОНИСИИ

Святая земля северных пустынножителей украшена произведениями величайшего религиозного художника Дионисия.

Мне довелось видеть фрески Дионисия в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря, на Вологодчине. Время нанесло им урон, но все-таки они живы. Изображенные на стенах храма светлые воинства — ангелы, апостолы, евангелисты, святые — как раз и кажутся созданными из воздуха, из эфира, из озона: так мягки, прозрачны, тихи белые, бледно-голубые, золотистые краски.

Это шествия многих бесплотных, босых, легкокрылых, исполненных небесной музыки, чистых, невесомых, состоящих из духа существ.

Странное впечатление: понимаешь, что они незримы, невидимы, что ху-

дожник изобразил незримое, показав его как бы сквозь дымку или цветное стекло.

Говорят, что Дионисий создавал свои краски из приозерных камешков, особым образом растирая их.

Какой же духовной должна быть природа этих камешков! Как духовна должна быть породившая их земля!

ПОДЗЕМНЫЕ АСКЕТЫ

Сердце человеческое вмещает многое, но еще большего оно не вмещает. В духовных пространствах мира существует огромная любовь, блаженства которой несказанны. Но человек заполняет сердце всякими отвлекающими чувствованиями, а для Той любви нужна чистота сердца. Потому среди стяжателей ее столь часты исихасты, затворники, столпники, молчаливники, отшельники.

Одно из удивительных мест на земле, где ощутимо притяжение этой любви,— Киево-Печерская Лавра с ее знаменитой подземной обителью, где просияли и почивают святые Христовы угодники Божьи. Там, в пещерах, в лабиринтах длинных галерей, в нишах и кельях, в двух подземных церквях в первые века русского христианства совершалось невиданное подвижничество Христа ради.

Преодолевая робость, со слабою свечою в руке, спускалась я по ступенькам узкого хода в глубину, в темноту этого неведомого, необъяснимого, фантастического мира. Захоронения святых, погребенных в пещерах, мощи в нишах, ступени, ведущие вниз... Веяние подвига святого Антония и его последователей, шедших в небо сквозь землю...

Велики были энергии этих подземных аскетов, затворников, отваживавшихся на единоборство с демонами в кельях величиной в четыре локтя. Змии, гады, бесы, сам дьявол присту-

пали к русским мистикам, затмевая сердца то страстями, то подкупом, то страхами и ужасами... Иногда бес оборачивался ангелом света и овладевал душами затворников с помощью подмен.

Осаждаемые нечистью, духовные атлеты — во власяницах, в «железах тяжких», в веригах, в сырых козых шкурах, ссыхавшихся на теле, а некоторые — нагие — боролись с наваждениями оружием молитвы, голода, холода, даже самозакапывания по грудь в землю...

В киевском подземелье десятки лет кипела «невидимая миру» битва.

Я шла по внешнему тесному пространству этой битвы. И даже несовершенное восприятие современной паломницы способно было учуять в этих пещерах, среди почивающих останков, присутствие святых сил любви, ради которых проявлено было столько героизма.

И — самое неожиданное — там, в затворе, в склепе, в месте добровольного заточения, в кажущейся неволе, — вдруг повеяло на меня могучей свободой духа, космосом, абсолютом, полной независимостью от приманок, ловушек и кормушек жизни. Человек здесь полностью «изменился в любви к Богу».

СВЯТАЯ ВОДА

В Киевской обители была и другая, наземная часть духовной жизни. Она пронизана дневным светом и ведет отсчет от преподобного Феодосия Печерского, одного из самых радостных русских святых. В основе его подвига — создание монастырского общения, труд, служение ближнему, кротость и молитва.

Паломники, приходящие в Киево-Печерскую Лавру, могут взять воду из колодцев святых Антония и Феодосия.

Некоторые пьют и умываются на месте, другие уносят воду с собою.

Девяносто, восемьдесят лет назад было то же самое. Так же подходили к источникам люди и набирали воду... К этим источникам подходила моя прапрабабушка Лекса. Именно за святой водой пешеходствовала она в Киев, именно киевская вода стояла в бутылочках и пузырьках на божничке, в девичьем домике моей матери, именно этой водою и умывала мою мать, свою правнучку, бабушка Лекса...

Там, у лаврских колодцев, я будто встретилась с нею. Я испила той же водицы. Я набрала святой воды в немудрящую походную посуду: это доставляю матери, чтобы на старости она пользовалась той же самой целебной влагой, которая укрепляла ее в детстве.

И вот я дома.

Мама вяжет чулок и рассказывает мне о паломнице Лексе:

«Ходила она в Киев за святой водой. Баклажка, бывало, у нее, мешок да палка. В мешке — сухарики, корочки разные, еще что-нибудь...

Иногда помногу человек ходили в Киев. Соберутся — с мешками, с палками, и идут — вон как гуси летят.

Ох и подолгу пропадала бабушка Лекса! И забуду про нее: не знай, была; не знай, нет. Потом появится: не отдохнет никак, на печку залезет... Воду святую она сама и расходовала: к ней ведь с младенцами приходили — она умывала ребятешек, отмаливала от сполоха, от бессонницы, от слеза. Разбавит святой водой обыкновенную воду и сбрызнет малышу и грудь, и живот, и ручки, и ножки — пяточки... И выпить даст. У нее были какие-то как раковинки, прямо ушко такое — вот нальет в него этой водички, даст младенцу, он выпьет.

К ней должны были привозить детей по три раза (три «сеанса», как сейчас говорят), но чаще было так,

что привезут раз — и он уже веселенький, выздоровел. Она и взрослым помогала, — как врач была...»

Как врач... Я же думаю, что бабушка Лекса была распространительницей Божьей благодати.

АКАФИСТ

«Она ходила везде: на север и на юг, на запад и на восток», — так рассказывает о паломнице Лексе моя мать.

В Киев она ходила за особо ценной святой водой. В Сергиев Посад — поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского, народного святого, заступника и печальника Русской Земли, того, о ком Житие говорит, что «ему были преизобильно сообщены все дары Божии: и дар чудотворений, и дар пророчества, и дар утешения и назидания, совета и разума духовного».

Что-то врожденное, переполняющее счастьем сердце, влечет меня всегда в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры, где покоятся мощи преподобного. Притяжение этого храма невероятно. Он почти полностью сохранил в своем иконостасе работы Андрея Рублева, Даниила Черного, Симона Ушакова. Веками длится народное шествие сюда. Троицкий собор — магнит для жаждущих обратиться к первоисточнику жизни. Через посредничество преподобного Сергия, небесного нашего молельщика, находили здесь просветление великие и малые мира сего, верующие и отчаявшиеся в безверии, венценосцы и воины, богатые и нищие, известные философы и безвестные искатели истины, громко прославленные художники и тишайшие поклонники красоты, знаменитые писатели и скромные носители устных преданий... С этим местом связаны имена Михаила Пришвина, Михаила Нестерова, Павла Флоренского... Пелену с мощей Сергия Радонежского подносили к

смертному одру Василия Розанова, умиравшего в Сергиевом Посаде в тяжелых душевных муках, в несогласии с Богом. Укрытый Сергиевой пеленой, он смягчился и тихо заснул последним сном.

Как не спешить в Троицкий собор, в древнее сосредоточие русского религиозного чувства... Не только святость и подвиг Сергия раскрываются мне здесь. В Троицком соборе я остроенно чувствую присутствие и благодать Пресвятой Богородицы. Это естественно, она ведь являлась Сергию и обещала покровительство: «Я неотступна буду от места сего, и всегда буду покрывать его...»

Вот Ее Образ в середине иконостаса и три лампы пред Ним.

Я остаюсь здесь надолго.

У раки мощей преподобного совершается обычный молебен. Поют певчие... Особенно красив один голос, чистый, летающий, полный ликования, принадлежащий очень молодой женщине. Что-то поразительное слышится все-таки в ее голосе. Кажется, она рвется к ангелам и ликующе принимает к сотам рая: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя...»

Что еще поют они? Все простое и знакомое: «Господи, помилуй...», «Радуйся, Сергие...»

К пяти часам прихлынул в храм народ, вышли священнослужители. Начался Акафист Пресвятой Богородице. Весь храм разом зазвучал, прославляя Богородицу и желая ей радости: «Радуйся, приятное молитвы кадило; радуйся, всего мира очищение. Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение. Радуйся, Невесто Неневственная».

Лица были светлы. Высоко было пение. Сияли люди, молились и плакали.

Рядом со мной вдруг встала та, что пела, как ангел. Странно она выглядела. Такого человека на улице за просто не встретишь. Она была довольно смугла, молода — и пению отдавалась самозабвенно. Одежда ее была необычна: длинная, до полу, юбка; поверх — замшевое пальтецо, вытертое донельзя; на голове — линиялая косыночка... В руках она держала старенький зачитанный молитвослов и по нему пела Акафист. А меж страниц молитвослова лежала старинная фотографическая карточка иконы Божьей Матери. Наверное, эта карточка досталась певчей от дедов и прадедов. Обломаны были углы и края реликвии. Время от времени женщина целовала ее — пела — и вновь целовала.

Храм был полон счастья и ликования. Да и как иначе?

Вот она, Россия, со своею сокровенной любовью. Вот она «перед пречистым Твоим образом со слезами...»

«Достоиню есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем».

К ОЦУ СЕРГИЮ

В храм мы приходим из суетного, не внимательного к «внутреннему человеку», жесткого и во многом бессмысленного мира. Крепка печать социума, без передышки штампующего наше поведение.

В иконной лавке Троице-Сергиевой Лавры мне случилось видеть насвистывающих туристов в шортах и прищельцев, которыми предметы культа приобретались как сувениры.

Но я далека от осуждения. Массовый бытовой человек почти не знает мира, стоящего вне суеты. Общество организовано так, что всякое поня-

тие о духовной жизни и ее законах просто выпадает из сознания в повседневной борьбе за существование.

Когда я нынешним летом вынырнула из суеты — из очередей и вокзальных толп, из митингового ора, из-под бесчисленных газетных листов — и оказалась в Сергиевом Посаде, в Троицком Соборе, под хоругвью с надписью «Да воскреснет Богъ и расточатся врази Его», я не сразу пришла в себя. Что-то во мне уже оживало, воскресало, устремлялось вверх, но что-то работало еще в обычном, бытовом, «остаточном» светном режиме.

Ко мне подошла светлая женщина с тремя беленькими детьми: двумя девочками и мальчиком. Все семейство сияло чем-то тихо-торжественным, радостно-серьезным и священным.

— Вы посмотрите за нашей сумкой? — спросила женщина.

— Да. А вы куда? Вы надолго?

Она взглянула на меня с удивлением:

— Как куда? К отцу Сергию...

И в самом деле, куда можно отойти в этом храме? Куда идут все? Конечно, к раке с мощами преподобного. Я же не в магазине, не в очереди за дефицитом! И не на вокзале, не в очереди за железнодорожным билетом!

Непросто очнуться от суеты и уловить над собой какой-то еще закон, кроме закона физического выживания.

А трогательное семейство — светловатая мать с тремя ясными детьми — уже стояло перед ракой. Когда же вернулись от отца Сергия, мне показалось, что чистота их еще усилилась.

И в этот момент я поняла, что внутренне готова идти поклониться святыне.

ДОБРАЯ ВОЛЯ

Однажды в Троице-Сергиевой Лавре я видела грозу.

Время как будто откатилось вне-

запно на пятьсот (с лишним) лет назад. Все было — как в древние времена: над Русью вдруг встала тьма; огромная темная туча надвинулась на ее золотые купола, засверкали молнии, ударил гром...

И, как в древние времена, народ бежал, крестясь, в храм, в единственное укрытие от тьмы. Народ бежал от грозы и напасти в Троицкий собор...

У раки мощей Сергия Радонежского шла служба. Перед рублевскими иконами светились лампы. Горели свечи. Подходили люди, припадали к святыне. Как и пять, как и шесть веков назад, желанно для них было: «...веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплемennых сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведующим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение...»

Это и есть добрая воля.

ДУБРОВСКИЙ ИСТОЧНИК

Все хождения все равно приведут меня во Владимирку. Уж и дом родной забит, и отец в могиле, и мать живет со мной в сибирской стороне, и родных там никого не осталось, но странствовать, не заходя во Владимирку, как-то не полагается.

Не могу я явиться туда и без матери. Из святых подмосковных мест я возвращаюсь в Сибирь, в Новокузнецк, — и через некоторое время везу мать в Заволжье, на родину, туда, где называют ее по старой памяти бауш-

кой Клавдеей. Из районного центра, из Хворостянки, мы идем пешком в свою незабвенную Владимировку, едва не падая от изнеможения счастья. Ничего другого у нас все равно нет. Здесь — воздух, из которого мы брали все духовное. Здесь — земля, из которой мы брали все материальное. Здесь пастбища, угодья, сенокосы, речки — физический мир нашей родины. Здесь — белокаменная церковь, где крестили нас, наших дедов и отцов. Здесь наш узел жизни.

Скоро мы придем. А пока — небольшой привал у селца Дубровка, что лежит между Хворостянкой и Владимировкой, тихое, ровно дышащее, полное какой-то первоначальной, еще домировой глубины...

— Здесь есть долинка, а в ней — кусток, — говорит баушка Клавдея.

Находим долинку с одинокою ветлою — и садимся отдыхать.

И вот что рассказывает об этом месте, светло любясь им, моя старая мать:

«Когда я была маленькая, здесь стояла часовенка. Кто ее поставил — неизвестно. Она стояла белокаменная, с зеленым куполком, на котором золотился крестик, а из-под нее тек родничок. Над самым его истоком и стояла часовенка. И около нее всегда был ручеек, текущий с горки, и была всегда вода. Вообще, часовенка появилась ночью, в канун Девятой пятницы (от Пасхи Девятая пятница) — и с тех пор каждую Девятую пятницу здесь совершалась служба. Я один раз сюда чуть дошла с мамкой, с баушкой Ульяной и с прабабушкой Лексой. Жарко было, зной. В Дубровке была деревянненькая церковь. Мы были сначала на службе в церкви, потом все пошли на родник: подняли иконы, взятые из алтаря, и пошли. Больные и странные становились на колени — и над ними проносили иконы. Многие выздоравливали.

А когда подошли к роднику, все об-

лепили этот ручей: кто пьет, кто умывается, лечит глаза, кто в свои посудинки почерпнет — и несут домой. Вода освященная... И про жару забыли, всем хорошо, и мне тоже хорошо было...»

Ни родника, ни часовенки давно нет на этом месте. Но шумит зеленая ветла, выросшая на земле, осененной золотым крестом, и корни этой ветлы, возможно, забирают в себя ту самую подземную влагу, которая прежде выбивалась **наружу в виде целебного источника.**

Сладок под этой ветлою отдых на пути во Владимировку...

ЛЮБОВЬ

В детстве, при виде путников, издалека державших путь в наш владимировский храм, я не догадывалась, конечно, что придет время, когда и мне, и матери моей доведется разделить их участь — и так же добираться издалека, из другой даже части света, сюда, под эти благообразные своды самой близкой в мире церкви.

Как хорошо здесь. Как дивно это — после всех дорог, после раскаленных городов, после столкновений с другими судьбами, после посещения знаменитых святынь, после катаклизмов и катарсисов своей личности — оказаться здесь, в родном храме, среди земляков, среди своего старенького, плохонького, болезного, с испытанным морщинистым лицом народа, перед своими вековыми скорбными иконами...

Пусть ты и оторвана от этих людей, и бесполезна для них, но для чего-то народилась именно в их семье. Пусть ты именно тот урод, без которого семья не обходится, но ведь «Бог пропавших не отвергает. Они нужны ему. Они расплачиваются за остальных».

Какое тихое религиозное достоинст-

во исходит от этого сельского провинциального храма! И все важнейшие святые лики представлены в иконостасе. И, как в любой русской церкви, здесь ощутима особая атмосфера упований вокруг Богородицы, узнаваемы все духовные признаки неизъяснимой народной любви к молебнице Земли Русской, к благой Ходатаице, к покровительнице сирых и обиженных.

Ты и сама любишь Ее этой неизреченной, переполняющей сердце любовью,— и всегда плачешь перед Пречистой.

И ты благодарна своему, с виду невзрачному, неказистому, вечно обманутому народу за то, что он, несмотря на непреходящую, хроническую гибель и тяжкие грехи, создал эту величайшую, молитвенную, коленопреклоненную, святую, неоскорбляемую любовь, и хранит ее, и наделяет ею своих детей. Вот и тебе, блудной дочери, щедро дал народ от любви своей — и это навечно...

«ДУХ ДЫШИТ...»

Страница — паломница бабушка Лекса видала на своем веку много церквей.

«Странников тогда набиралось много,— вспоминает моя мать.— Они вот до какой-нибудь церкви доплетутся — там к ним еще прибавляются. Так и ходили...»

Мне, праправнучке религиозной странницы, доводится видеть уже отчасти иную землю, на которой так привычен распадающийся остов бывшего храма. Долгие годы развалины церквей считались неотъемлемой частью пейзажа нового мира, и архитекторы нисколько не переживали за вид городов и поселков, откладывавших в руинах гигантские скопления нечистот. Теперь храмы передаются верующим, передаются со всеми болячками, язвами и коростами, которыми они

покрылись за годы надругательства, передаются со всей черной «аурой», которая десятками лет формировалась вокруг оскверненных церковных останков.

Храмы-мученики, присыпанные пеплом, смешанным с прахом и кровью, они испытали на себе, что такое ненависть, граничащая с патологией, с какими-то прободениями, провалами, умопомрачением самого зла.

Но все же, бабушка Лекса, во время своих хождений я встретила и уцелевшую красоту, и витающую над нашими трагическими просторами спасительницу любовь. При поддержке просто обстоятельств, без спутников, без средств и даже без знаний, с одним только внутренним компасом чудом не поврежденной веры, прошла я и среднерусские захолустья с провинциальными церковками, полными нежности к сладчайшему Иисусу, и храмы Москвы и Подмосковья, и некоторые храмы Сибири.

Бог позволил мне предстоять перед новгородской, киевской, вологодской и тобольской — сибирской — Софией. Мне посчастливилось слышать Божественную литургию в церкви-колокольне Марии Египетской в возрождающемся Абалакском монастыре под Тобольском...

Но я поняла в этих скитаниях, что обойти и объехать все наши святые места и создать о них в сердце своем Книгу — это дело целой жизни.

Какой бы ни была жизнь впереди — короткой или длинной, благополучной или ужасной, — но в ней так и будет присутствовать то несбывшееся, непосещенное, неисполненное, к чему стремится душа, прикоснувшаяся хотя бы одною своею гранью к сокровищам Христовой любви.

Этот зов велит теперь отправиться в Оптину пустынь или посетить Дивеево, последний удел Божией Матери на

земле, удел, устроителем которого был преподобный Серафим Саровский.

Какой будет дорога туда? Наше будущее не рисуется мне благостным. Мне жаль, что люди «огораживаются» — и отгораживаются, отмежевываются друг от друга. Но нельзя отгородить дух от мест сосредоточения духовной жизни. Ни карточками на пи-

щу нашу засушную, ни транспортными катастрофами, ни голодом и холодом, ни распрями, ни суровыми границами, ни самою смертью нельзя остановить хождение духа.

«Дух дышит, где хочет».

Мир един. Связь мудрее разрыва.

г. Новокузнецк

Я НОШУ РОССИЙСКИЙ КРЕСТ...

Тамара Рубцова

* * *

Былинка вздрогнет на ветру,
И замечаю: мы похожи.
И я, поднявшись поутру,
Сегодня ежилась до дрожи.
В лугах затеплятся жарки,
От них тепло идет волною.
Растет осока у реки —
И у нее есть связь со мною.

Все начинается с цветка,
Лучом травы — до дальней дали.
И Мир растет от стебелька
Лучом космической спирали.

РУСЬ

Вижу я тебя не пьяной,
Не распятой на кресте,
Не матрешкою румяной,
Не цветами на холсте.
Высока, простоволоса,
Ты проходишь сквозь туман.
Руки голы, ноги босы,
Тесен легкий сарафан.

Вот идешь, идешь незряче,
Над тобой гремит гроза.
От невидимого плача
Вянут светлые глаза.
Что ж ты встала у откоса,
Ничего не говоря?
Иль не веришь в зрячий посох
Своего поводыря?

* * *

Из сибирских родом мест,
Где смешались сотни наций,
Я ношу российский крест
Безо всяких деклараций.
И не прячу, словно вор,
Мысли, чувства и понятия.
Боль страны, ее позор,
Слава, совесть и распятие —
Все мое, со мной...

И все ж
Знаю, что прощать придется
Тех, кому иудин грош
До сих пор легко дается.

Тамара Страхова

* * *

Жить в России и битым не быть —
Для чего ж батога и ракиты?
Повезло, если — быть не убитым,
Повезло — самому не убить.
Вехи судеб, глаза, имена...
Вы у жизни — кровавым транзитом.
И рыдают над вами ракиты,
Боль свою доставая со дна.

Всплеск волны, изогнулось весло,
Словно вскрикнуло по-человечьи.
Сколько Черных поруганных речек
Через сердце твое протекло?
Кружит вихрем ветров воронье,
Оттеснив лебединую стаю.
За Россию легко умирают.
Что ж так трудно нам жить за нее?

* * *

Сорвавшийся крик
опустился на ветку дерева.
Дерево отряхнуло листву,
и крик растворился в воздухе.
Человек обернулся.
Застыла в полете птица.
Неужели они узнали друг друга?

* * *

Живем от взрыва и до взрыва,
Качаем мускулы, слова,
Пока не обожжет крапива
И прочая огонь-травя.
Живем с собою по соседству
В раздвоенности, суете,
Пока не подорвется сердце
Вдруг на замедленной беде...
Когда в глазах очнуты звезды,
И лет поток помчится вспять,
Поймем, что понимаем поздно
То, что, увы, нельзя понять.

Надежда Ма Динь

ДОМ

Дом. Ступени. И крылечко.
Запах мяты из сеней.
И сверчок за теплой печкой.
На столе — тарелка щей.

Домотканые дорожки.
На стене портрет отца
В черной рамке у окошка.
Под ступенями крыльца

Пес лохматый, вислоухий,
С длинным красным языком,
На завалинке — старуха.
Сторожат забытый дом.

«Убаюкай, дом надежный,—
Тихо пела в детстве мать,—
Все, что было днем тревожно,
Пусть уходит досыпать».

* * *

И только сегодня мне — воздух,
Простор, серебро тополей,
Рябины тяжелые гроздьи,
Веселый пожар снегирей.

И только сегодня мне — солнце,
Промытая голубизна,

Глоток тишины из колодца —
С холодного гулко дна.

Успеть бы всему поклониться,
Уверовав верой земной,
Что жизнь и могла не случиться,
Меня обойти стороной!..

* * *

Вот и мой колокольчик звенит под дугой,
Сыплет звонкие треди на снежное поле.
Я люблю это русское наше раздолье,
Ветра вкус на губах леденящий и злой.

Но полынной приправы отмерянный срок
Ветром бьет по глазам неожиданно хлестко,
И вплетаются в гриву надежно и жестко
То ли слезы небесные, то ли песок.

Так пронзительно чист и щемяще далек,
Накрывающий землю отеческой дланью,
Этот звон нарастающий в сумерках ранних —
Благовеста забытый уже холодок.

Только мне не прочесть и уже не принять
Ни Марииной муки, ни жалоб Иова:
Человечества самое Первое Слово
Я с рожденья приучена не понимать.

Виль Рудин

ТРИ ГОДА ДЬЯВОЛЬЩИНЫ*

ПОВЕСТЬ

I

В январе 1919 года на Северном Урале между красными и белыми бои шли невиданной жестокости.

Противники, пылая взаимной ненавистью, то и дело сходились врукопашную, кололи штыками, молотили прикладами; откатившись от места боя, оставляли сотни поверженных тел, а чуть переведа дух, снова бросались в штыки. Уральские заводы и городки при них переходили из рук в руки по три, а то и четыре раза. Никто пересилить не мог.

Сибирский корпус генерала Пепеляева рвался к Осе и Оханску. Генерал убежден был, что противостоящая 30-я дивизия Блюхера доживает последние дни. И 18 января приказал ввести в дело у села Дворецкого батальоны своих штурмовиков, чтобы одним решительным ударом разгромить противника.

Штурмовики, все сплошь офицеры или добровольцы, смерть презирали, в атаки ходили сомкнутым строем, уставив острия штыков перед собой; под огнем красных строя не ломали, пулям не кланялись.

Ни один полк у красных таких ударов не выдерживал: либо бежал с поля боя, либо погибал...

Теперь под ударом штурмовиков должна была пасть обескровленная дивизия Блюхера. Но Василий Блюхер успел в эту ночь перебросить к Дворецкому Кра-

сноуфимскую бригаду, снятую спешно с левого фланга; понимая, что такое штыковой удар классового врага, Блюхер белой атаки дожидаться не стал, бригаду красноуфимцев бросил на село Дворецкое с ходу, и столкнулись на заснеженном пологом горном склоне ясным морозным утром до трех тысяч людей.

Красноуфимцы плечом к плечу, со штыками наперевес, с двух сторон одновременно: «Ура! Ура! Ура! Бей контру!»

Пепеляевские штурмовики, уставяся штыками — на них: «Ура! Р-ра! Р-ра! За Русь святую!»

К вечеру дело решилось в пользу красных: от ударников мало кто уцелел — переколотые штыками, покалеченные гранатными разрывами, поутыкались лицами в почерневший от пороховой гари, истоптанный снег.

Командир красноуфимцев, загородившись дозорами, отвел бойцов от страшного поля к северной окраине Дворецкого — передохнуть; знал уже, что на другой день и 30-я дивизия, и вся Третья армия переходят в наступление, и бригада пойдет вперед.

Над мертвым полем опустилась ночная темь.

Ночь, ясная и морозная, пошла на убыль, когда из соснового бора к окраине Дворецкого вылетели легкие дровни — конь фыркнул раз, другой и, захрипев, попятился, задирая вверх голову. Старейший Еварист Евдокимович, встав в

* Журнальный вариант

саниях, несколько секунд вглядывался в поле, ахнул, наложил на себя крестное знамение старым обрядом, двоеперстием:

— Глянь, глянь, Киприян Осипович, сколь они тут побитых бросили... Вишь, как дьявол в них лютует!

— Так кто же из них дьявол, Еварист Евдокимович?

— И те, и другие... Старейший сошел с саней, медленно побрел обочь дороги, наклоняясь то и дело к трупам. — У этого, глянь-ка, шапка под звездой да с одним рогом... Вот уж истинно дьявольское прельщение... А этот...

До Евариста Евдокимовича вдруг донесся вздох и стон, и снова вздох... Еварист Евдокимович склонился — в ясном лунном свете увидел совсем чистое, без бороды и усов юношеское лицо. Позвал тихонько, словно боясь спугнуть ночную тишь:

— Киприян, Киприян! Подгони-ка лошадку, этот будто жив еще...

Киприян Осипович взял коня под уздцы, подвел к Еваристу Евдокимовичу, спросил недовольно: зачем, мол, нам такая морока? Ехать далеко еще, все равно мороз свое возьмет, в пример ледышки и привезем.

— Окстись, Киприян! Помрет — в тайге и оставим, на Печору не повезем. А ежели у смерти отмолим? Неужто будет Богу его душа лишней? Помоги поднять, вишь, тяжелый какой...

К ночи остановились в чьей-то просторной избе. Было тепло, резко пахло душистой, распаренной сосной.

Подобранного штабс-капитана бережно уложили на лежанку, неслышно подошедшая женщина в черном платке спросила распевно: — Не хочешь ли, батюшка, топленого молочка испить? За трапезу с нами, ты, чай, не сядешь, немощен ты...

Среди ночи штабс-капитана охватило жаром, он заметался, сбрасывая с себя меховую полость и суконные толстые одеяла... Сквозь режущую боль в груди, сквозь ломоту в суставах и грохот в ушах

дошел до его сознания резкий, враждебный голос:

— Да на что он тебе, Еварист Евдокимович? До Илыча вон еще как далеко, что нам с этим антихристом мучиться?

— Молчи, Киприян, не перечь! Мне его во искупление грехов Господь послал! Сказал же тебе — я его отмолю у смерти, а там, глядишь, еще и окрещу... — этот голос и властный, и благостный.

— Да помрет он от того крещения!

— Помрет? Нешто же это беда? Кто при крещении помирает, того душа сразу в рай возносится, ради этого и постра-
даться стоит.

Это разве о нем, о штабс-капитане Силине? О его душе? Да ведь он крещеный... И снова заволокло сознание горячечным бредом — заплясал на спине поверженной черной кожанки поручик Арнольд Перлов, пошли неслышно на Силина густые черные цепи — не то красноармейцы, не то сосны-великаны...

Еварист Евдокимович поверил Евдокии Степановне, жене хозяина, — надо, мол, дать пораненному роздых два дня. Потом, сказала, жар спадет, и можно будет ехать.

Видно, лежало на Евдокии Божье расположение: пока пережидали в доме Поповых, и потом, когда, устроив раненого в сани, поднимались вверх по замерзшему руслу Кольвы, ни буранов, ни снегопадов не было, потому ехали быстро по едва видной в пушистом слепящем снегу колее.

Поднялись до Верхних Увалов — сосны здесь золотом горят, по желтому камню вверх до самого неба стеной стали... Киприян Осипович голову запрокинул, глядит пораженно: как туда поднимешься?

Еварист Евдокимович обнадежил: — На все, Киприян, воля Божия. Я первый раз как увал этот увидел, так и обмер: велик Божий промысел! Какую красоту для глаз человеческих Господь сотворил! А мы с тобой еще малость вверх по реке

поднимемся, там влево свернем, напрямком на север, там **мужики** дорогу проторили. По ней до Уньи-реки уж совсем близко».

— А дале? А дале куда?

— С Уньи спустимся на Печору и по ней завтра к ночи доберемся до устья Илыча. Там, в Усть-Илыче, заночуем, а уж послезавтра начнем духовоборствовать. Ну, с Богом!

Киприян Осипович кивнул: — А этот, пораненный, смотри-тко, все спит да спит, и дых у него ровный...

Места эти Еварист Евдокимович впервые увидел восемь лет назад, зимой 1911 года, когда преимуций старейший* Арсений рекомендовал его в помощники тогдашнему старейшему Ныробской страны старцу Евстратию.

Приехавший к Арсению в Данилов Евстратий Васильевич спрашивал, знает ли послушник Архип грамоте, читал ли Божьи книги и глубоко ли проник в веру отцов святых, и крещен ли по скрытническому обряду?

Послушав, что говорил ему старец Арсений, Евстратий Васильевич согласно покивал, еще три дня, живя в Данилове, в келье, все присматривался к Архипу, потом спросил его:

— Хочешь ли мне в помощники? Ты хоть и молод, но разумом Бог тебя наделил не по годам, мне такой надобен.

Архип — тогда еще крещен не был, имени Еварист не имел — преклонил колени:

— Пойду к тебе, Евстратий Васильевич, с легким сердцем и радостью, Богу служить буду усердно.

— Тогда открой мне ради спасения души, какая тайная печаль тебя гложет?

— Прости, Евстратий Васильевич, без разрешения старца Арсения открыть того не смею. — И Архип потупился.

* Преимуций старейший — избранный на Соборе старейших всех «стран» глава скрытнического вероучения, считается в ранге патриарха.

Еще через день Евстратий Васильевич сказал Архипу:

— Преимуций старейший Арсений мне твой грех открыл, а ты, выходит, все по Аниске и по дочери своей скорбишь? Тебе бы за них возрадоваться, они теперь обе в странничестве, с Господом в каждодневных молитвах общаются своего душевного спасения ради. А тот твой грех Господь тебе давно простил, и старец Арсений простил. Если ехать со мной согласен, собирайся. Как боль свою с Богом примиришь, я тебя окрещу, примешь Божье имя, мирское забудешь, и придет душе великое успокоение.

23 декабря 1915 года Архип, вручив Господу тело свое и душу, сошел у села Черепаново в ледяную иордань*, пробитую пешнями в застывшей Колве, и наречен был Еваристом.

Дело свершилось, угодное Богу: обнаженный Еварист на ветру и лютом морозе жаром не взялся, легких же не застудил. Евдоким Васильевич на виду павших на колени от великого чуда мужиков и баб закутал Евариста в тулуп, увез в саях к жиловому Хромову, там влил в рот заостеневшего Евариста стакан обжигающего спирта, спиртом же растер грудь, спину и поясницу до красного горения, дал два дня отлежаться...

Лишь после крещения старец Евдоким доверил Еваристу ездить по селам одному, проповедовать.

За два года, с 15 по 17-й, если считать по антихристову, Петром введенному летоисчислению, по истинному же исчислению от лета 7423 до лета 7425, Еварист воздвиг четыре кельи на Унье, скрывалось в них восемнадцать мироотречников и мироотречниц. По селам Еварист еще восьмерых убедил, но в скрытничество не ввел, оставил в жиловых, от них шло в кельи пропитание: мука ржаная, крупа перловая да ячневая, рыба сушеная, мясо говяжье...

* Иордань — место на льду и прорубь для водоосвящения и крещения.

Теперь, в январе 1919 года, преимуществ старейший Арсений отправил Евдокима из Ныробского братства в Костромскую страну, поставил его там в пастыри, в Ныробской стране благословил старейшим его, Евариста.

От старца Арсения и ехал сейчас Еварист Евдокимович из далекого Данилова, чтобы расширить пределы своей страны до реки Илыч, притока Печоры, и до самой Печоры. Должен был Еварист склонить к вере истинно православной живущих по этим рекам крестьян и построить их руками в глухих, дремучих лесах северного Урала, в верховьях рек Илыч, Скалян, Унья избушки-кедьи, и увести в них мироотречников, отказавшихся по его слову от сущего вокруг мира Антихриста — во имя спасения их собственных душ, непленных и неопалимых.

II

Силин, придя в себя, удивился несказанно всему — и что жив, и что зарос густой бородой, и что лежит в низенькой беленой комнатенке; не мог припомнить, как сюда попал; благодарен был белолицей женщине в черном платке, из-под которого волос ее было не разглядеть, — эта и кормила, и усаживала, подложив под спину что-то твердое, и плечо пальцами разминала, чтобы шибче кровушка бежала... Приходила женщина молча и делала все молча, и уходила не прощаясь.

Николай Петрович в толк не мог взять, как тут очутился, и долго ли ему тут быть, и что за люди здесь живут. В мае, когда разлилось внешнее тепло, женщина впервые сказала — голос был низкий, звучный: «Пойдем-тко, батюшка, вниз, на вольный воздух. Обопрись о мое плечо, обопрись, ты еще с ногами своими не совладаешь...»

Он сидел на высоком крыльце, у резного стояка, и видел далекие, черным лесом покрытые увалы, и широкий луг, и еще дома под дощатыми кровлями — такой

уж покой царил в мире, будто и не гремела где-то кровавая война, в которой одни русские истребляли других русских... На все его вопросы — долго ли ему тут быть и скоро ли его отпустят? — ответ был один: как старейший Еварист Евдокимович прикажет.

В начале лета в селцо приехал Еварист Евдокимович.

Силину, теперь уже совсем окрепшему, посвежевшему даже, но сверх меры заждавшемуся, в первый миг странно знакомыми показались глаза Евариста Евдокимовича, но сколько ни силился, так и не мог вспомнить, где видел. Еварист Евдокимович сам объяснил: подобрал, мол, тебя, полужамерзшего, на смертном поле у села Дворецкого и сюда, на реку Илыч, завез, село же называется Раслуг, верст отсюда до Ныроба не менее полутысячи.

Николай Петрович вздохнул: «Выходит, я вам спасением обязан. Как отблагодарю за благое дело?»

Еварист Евдокимович благодарности не принял, сказал неспешно: — Все во имя Господа свершаем.

Силин хотел знать, что на белом свете творится и как он теперь до своих доберется.

Еварист Евдокимович опять же вздохнул: — А каких ты своими-то считаешь? Белых или красных?

— Ну, знаете! — Силин не возмущен был, но удивлен безмерно. — Неужто вы бы и с красным так могли? С таким милосердием?

— По нашей вере, по истинно православной, тако святыми старцами заповедано: спасай души! Отбирай у Антихриста, для нас же что те, что эти одинаково антихристы. А только красные теперь твоих за Урал загнали, далеко, Белебей взяли и Уфу, сейчас там кровь пьют, свою и чужую.

— Белебей! — Николай Петрович был поражен. — Да как же так? А я тут отлеживаюсь!

— До зимы у нас побудешь, сейчас ни-

как ты через здешние реки не переправишься и тайгой не пройдешь. Бояться тебе на Илыче нечего, сюда, особенно в верховья, комиссары последнего Антихриста носа не кажут.

— Кого, кого? — Силин смотрел на Евариста Евдокимовича во все глаза.

— Большевики и есть последний Антихрист. Придет срок, спустится с неба искушитель на белом коне и, собрав всех странствующих, сотворит брань крепкую с Антихристом, победит его. Тогда устроится на земле царство Божие для христиан истинно православных.

Силин подвинулся в душе: Еварист Евдокимович, спаситель его и благодетель, оставаясь в здравом уме, речи вел странные...

— Поясни, бога ради, странствующие — это кто?

— Мироотречники. Те, кто, отринув мир Антихриста, ушли в странствие, спасать свои души. Захочешь, и ты с нами иди, и душу свою спасешь.

Николай Петрович наконец-то прозрел: он попал к староверам, словно на два века назад перенесся. Тогда, правда, бежали в лесную глухомань да в горы от Петра Великого, а эти, выходит, от большевиков... Ну, от большевиков, скажем, и ему надо подальше, от всяких там комиссаров да чекистов...

На другой день Еварист Евдокимович отвез его в келью — свежесрубленную крохотную избушку верстах в пятнадцати от Раслуга, вверх по обрывистому берегу Илыча, сказал, что здесь будет и спокойнее, и безопаснее. Тут, верстах в трех, есть две мироотречницы, живут в своей келье, так они будут его проводить, и готовить ему, и за порядком в его келье присматривать. Спросил — учен ли ты старославянской грамоте? Наши святые книги тем слогом писаны. Не хочешь ли какую прочесть? Мироотречницы тебе бы принесли, скажем, житие Василия Нового да псалтирь. Как зима придет, я снова приеду, тогда о тебе толком размыслим...

Силин попробовал воспротивиться:

— А ведь я, Еварист Евдокимович, офицер! Я свой долг перед Россией исполнять обязан!

— Нет в твоих словах правды! Твой офицерский долг с тебя смерть сняла на поле под Дворецким. Меня же на то поле Господь привел. О том тебе и толкую: побудь пока у нас, почитай святые книги, после о твоей судьбе размыслим. Неужто непонятно? Думаю к тому же, теперь уж твоим красного Антихриста не осилить...

И весна, и лето, по-северному скудные на тепло, промелькнули мигом, Силин и опомниться не успел.

Штыковая рана в правом плече давно уже зарубцевалась, только ныла время от времени, разламывала все плечо, и Николай Петрович точно знал: к дождю... И правда, вскоре же наполнили от недалеких горных вершин тучи, одна другой лохматее и страшнее, и к шуму Илыча, стремительного и невиданно прозрачного, примешивался шум ливня. Стволы сосен враз чернели, лес придвигался, окружая избушку глухой стеной. И оставался Николай Петрович Силин, штабс-капитан, один-одинешенек, если не считать священных книг.

Мироотречницы навещивались вместе, поодиночке не приходили: то ли его боялись, то ли не положено было по ихней вере. Одной было лет сорок, может, и поменьше. Была она характером властна, телом костлява, лицо широкое, глаза темные, посажены глубоко и близко друг к другу. Звали ее Киония.

Вторая, Неонила, была совсем молодая, стройная, Николаю Петровичу едва по плечо. Двигалась она ловко; под просторной темно-коричневой кофтой угадывались упругие груди. Силину казалось, что она стыдится и красы своей, и здоровья. Еще ему казалось, что Неонила с трудом удерживается, чтобы не улыбнуться ему...

Не желая стеснять женщин, Николай Петрович из избушки своей уходил,

спускался к самому Илычу. Сколько он ни глядел в эти прозрачные, бьющие в черные валуны струи, наглядеться не мог. Вода в Илыче даже в самую жару нестерпимо холодная, напор валит с ног. Раз попробовал перейти на ту сторону, и, свалившись со скользкого валуна, больше в реку не ступал. Не потому, что боялся — рассудил здраво: сосновый бор на том берегу так же дремуч и неогладен, как и на этом. Одному, без Евариста Евдокимовича, к человеческому жилью не выбраться, а пропадать в этом дремучем царстве — что за резон, раз уж он смерти в бою избежал...

Женщины оставляли на столе у печи дымящуюся вареную картошку, рассыпчатую, невиданно вкусную, и каравай хлеба, и зеленый лук, а в скоромные дни еще и куски разваренного, с острыми приправами мяса. Выйдя на обрыв, Неонила выпевала громко: «Ау-у! прощевай, милостивец! Ау-у-у!» И обе, не дожидаясь, пока он вскарабкается по каменистому обрыву к избушке, исчезали в сосняке.

Снег как пал на Илыч в конце октября, так и не стоял. Морозы в те дни стояли легкие. Илыч льдом не взялся, шумел под избушкой неугомонно. Тот, кто келью срубил — и о тепле в ней подумал: стояла тут печь, такая до дров охотница, шумела невеста из каких краев завезенной в здешнюю глухомань чугуной вьюшкой так ласково, и было Силину у той печурки по временам так легко и покойно...

В этот раз к Николаю Петровичу пришла одна Неонила. Вошла с мороза румяная, встала у порожка, глаза потупила: — А велено, батюшка, тебе в Раслут спуститься, и я тебя провожу. Старейший Еварист Евдокимович приехал, в избе Попова всех наших собирает, слово заповедное сказать хочет... — И вышла вон, на морозном воздухе дожидаться, пока Силин оденется.

Сначала шли берегом, Неонила в черном, мехом подбитом тулупчике, в чер-

ном же, наглухо повязанном платке, впереди, он чуть поотстав. Шла она быстро, из-под длинной юбки мелькали кожаные крохотные постолы.

Силин открытым ртом вдыхал сухой морозный воздух, прикидывая, чего ради собирает своих старец Еварист? Какое слово скажет им и какое — ему?

Неонила вскрикнула коротко, поскольку знаясь на крутом подъеме, упала бы, не поддержки ее Николай Петрович: руки его мгновенно обхватили, удержали Неонила, и шерстяной платок легонько коснулся его щеки. И в ту секунду, что держал девушку, сжав в объятиях, ощутил под полушубком и упругость ее тела, и гибкость, и обдало его жаром...

Секунду спустя, он отпустил девушку. Она обернулась: — Благодарствую, батюшка, вот бы я сейчас об лед хватилась! — Перекрестилась, но вперед не шла, смотрела на Силина с потаенной, едва проступившей в лице улыбкой.

Силин, ощущая неловкость, спросил, велик ли для нее грех, что он до нее дотронулся? Неонила улыбнулась теперь уже открыто — какой же в том грех? Мне помог, а тайными помыслами ни тебе, ни меня дьявол не смущает.

— Ну, так давай, я пойду вперед, и на тебе мою руку, держись!

Неонила взяла его руку, крепко за нее держась, медленно поднялась по заледенелому откосу, тут отпустила — ну, сама пойду.

Когда с пригорка показалось село — черные избы да амбары при них в сиреневом чистом снегу — и уперлись в небо серо-голубые дымы из печных труб, — Силин решился, попросил тихонько: — Остановись на миг, слышишь?

Неонила оглянулась — что тебе, батюшка?

Николай догнал, стал рядом:

— Спросить тебя хочу...

— Ну так спроси.

Силин поколебался.

— Давно ли ты от мира отреклась?

— Уж девять лет тому.

— Так ты ж еще ребенком была!

— И что с того? Детскую чистоту Господь возлюбил.

— А крестилась уже по вашему обряду?

— Нет, не готова еще... Так пошли, что ли?

— Пошли, пошли. А обратно нам тоже вместе?

Неонила внимательно посмотрела прямо в глаза Николая Петровича:

— Спрошу старейшего Евариста Евдокимовича. Как он прикажет, так и будет.

Еварист Евдокимович сказал наперво: красный Антихрист теперь уже совсем одолел, супротивников своих далеко в Сибирь угнал, в прошлом месяце отобрал Омск, а ныне и Новониколаевск. Потом голос до страшного проричания возвысил — грядет конец света, перед тем земля три года подряд ничего родить не будет, и придут мор и голод великие, люди людей пожирать станут, и спасение от вселенской гибели есть только одно: новой власти не признавать, под ее законы не писаться...

Николай Петрович со своих ступенек видел Неонилу: она сидела совсем недалеко, против него. Платок не сняла, только распустила, черная шерсть мягко легла на плечи. Кофта на ней синяя, хоть и широкая, а на груди пуговицы материю натянули... Неонила смотрела на старейшего Евариста, слушала неотрывно, в карих глазах неистовство и упорство. Такая хоть в огонь пойдет, хоть в ледяную прорубь... И тут вдруг глаза их встретились. Сошлись. Столкнулись. Николай увидел в ее взгляде лучистое сияние и понял: да ведь она зовет! И не выдержал, отвел глаза. Спохватился — что за блажь ему померещилась? С такой, может, и сойдешься, так ведь потом не распутаясь...

Силину старейший Еварист Евдокимович на прощание сказал, что отпустить его сейчас на верную гибель не может, надо бы еще подождать, посмотреть, как обернутся дела в междоусобной войне, ныне отодвинувшейся куда-то к Красноярску.

После его отъезда Силин не сразу вышел из избы, еще помешкал: пока отыскал свой черный, овчиной отдающий полубухоб среди другой, сваленной в кучу одежды, да свой трех; давно выскользнувшая на мороз Неонила все не шла у него из головы. То ли ждет его на крыльце, то ли кого другого дадут в провожатые? Мужичонку какого-нибудь, черти б его драли! Наконец вышел, чуть пригнувшись под низкой для него притолокой, аккуратно прикрыл за собой наборную, из толстых плах дверь. Неонила, глядя на него снизу, попеняла: — Что же ты, батюшка, так замешкался? Путь-то неблизкий, мне ведь и тебя отвести надобно, и в свою келью до ночи поспеть...

Слова сказала сердитые, а в лице укора нет...

Когда отошли подальше от Раслуга и снежная дорога под сомкнувшимися над их головами соснами потемнела, Николай Петрович спросил — возьмешь ли мою руку? упадешь ведь, не дай Бог... Девушка спокойно откликнулась — возьму, батюшка, спасибо... Силину уж так хотелось, чтобы она поскользнулась, и он бы подхватил Неонилу, и сжал бы хоть на мгновение... Шли молча, неспешно, им ведь и вправду спешить было незачем.

К его избышке подошли, уже смеркаться начало. Неонила словно бы опомнилась, бросила торопливо: — Так прощай, батюшка! — и побежала через неширокую поляну. Тут же ее не стало видно, а он все стоял и смотрел на сдвинувшиеся сплошной стеной молчаливые сосны, на темный снег под ними... Да что это с ним творится? Господи, еще

только этого ему не доставало — влюбиться в раскольницу! Остановись, опомнись, Николай, говорил он сам себе. Эй, остановись! Смотри на все проще...

Силин плохо спал в ту ночь, метался по топчану, ему было душно, хотелось беспрестанно пить. Под утро он пошел в свою последнюю штыковую атаку — знал, что живым из свалки не вырвется, и его подняли на штыки, и он вознесся, не чувствуя боли и страха, и увидел внизу, на краю поляны, женщину в черном полушубке, и сколько ни силился, рассмотреть лица не мог, но твердо знал — это она, Неонила...

Проснулся в поту, сел, сбросил ноги с топчана; наощупь, не зажигая света, сунул ноги в валенки, набросил на плечи полушубок, толкнул дверь. Морозный воздух ударил в грудь, в лицо — сел у порожка, опустил голову...

Спокойная жизнь, выходит, кончилась...

III

Неонила, как прибежала, бросилась в ноги старейшей по келье Кионии: ай, матушка, грех-то какой великий!

Киония грозно поднялась — чем же перед Богом провинилась? Каким мытарством душу осквернила?

— Руку он мне свою давал, и я держалась, и поначалу в том греха не видела, а после, очень хотела, чтобы он снова взял за руку... и как желала, так все исполнилось, и радостно было моей душе...

Старейшая Киония поняла: вот оно, начало искуса. Не зря она отправила Неонилу одну... Пусть оба, Неонила и господин офицер, друг друга искусят... Если же и в тяжкий грех впадут, после покаянием очистятся, а душу господина офицера Неонила уловит... Сказала словами монаха Григория: «Приидут ко Господу мученицы женского пола, которые имени ради Христа кровь свою проливали, и сих Господь принял во святой свой град».

На вот тебе лестовку*, поепитимствуй-тко во сто поклонов, я же за тебя помолюсь...

Старейшая Кеония будто точно знала, что именно надо, чтобы разжечь в душе Силина затеплившийся огонек: Неонилу к нему не пускала ровно сорок дней. Ходила к нему сама, раз в неделю, варить да убирать, разговоров о Неониле не заводила, Силин тоже делал вид, что ему безразлично, кто крутится у печи, та или эта. И однажды, уже в марте, не выдержал, спросил, не ушла ли Неонила в другую келью?

Киония ответила — а нет, батюшка, у меня так и живет.

— Что же сюда не приходит?

— Так гнева твоего страшится, не иначе.

— Я? Гневаться на Неонилу? Да за что же?

— Того не ведаю, батюшка, чем тебе Неонила не угодила, а что гнева в тебе нет, так это от Господа благодать: блажен человек, иже безгневие держит. Так Неонилу прислать, что ли?

Но прислала не сразу, еще неделю помытарил Николай Петровича. Силин в эту неделю вставал пораньше. Чтобы убить тягучее время, разметал снег перед порошком, тропу к поляне разгребал пошире и дров наколот с запасом, уложил в поленицу, натаскал из проруби воды, высокую бадейку наполнил до краев...

В седьмое утро, разметая у порожка выпавший ночью снег, услышал легкие быстрые шаги — сердце его остановилось. Неонила выбежала из-за угла, глянула на него весело, будто вчера только попрощалась:

— Здоров будь, батюшка! Как без меня-то жил? Небось, и не вспоминал?

Неонила воротилась в келью к вечеру, неспешно сняла полушубок, сбросила с головы платок, постояла в задумчивости, глядя на старейшую Кионию отрешенны-

* Лестовка — четки у раскольников.

ми глазами, потом повалилась ей в ноги: — Ой, матушка, за что меня, грешную, испытуешь? Зачем душу мою живую через мытарство* такое гонишь?

Киония усмехнулась: «Епитимьей очистишься, а скажи-тко мне, чем он тебя нынче прельщал? За руку, поди, снова брал?»

Неонила, не поднимая головы, ответила глухо, что господин офицер за руку ее брал и по голове гладил, и в глаза заглядывал, и были у него руки горячими, а в щеках жар. А больше себе ничего не позволил. Только когда пришло время уходить, платок на нее сам накинул и полусубок подал, а одев — обнял и постоял немного молча.

Киония, довольная, улыбнулась — вишь как он вспылал, через тебя душа его прельщается.

Неонила подняла залитое слезами лицо, но осталась на коленях.

— Ах, матушка, а на моей-то душе какой грех, и в мыслях, и в деле! Я же хочу, чтобы он меня обнял... Знаю, что грех великий творю и его прельщаю, и себя гублю, а все едино хочу...

— Не бойся, не страшись, все твои деяния Господь направляет, ради того все, чтобы господина офицера к нашей истинной вере привести. На-тко лестовку, посчитай себе сто поклонов, и вернется благодать в душу твою.

— Какое же мытарство мне еще уготовано, матушка?

— Того и наперед не ведаю. Однако же без воли Господа нашего ничего не свершится. А спрашивал ли господин офицер, когда еще придешь?

— Спрашивал, матушка.

— Что же сказала?

— Как ты велишь, а по своей воле не могу.

— Ну, пусть так и будет. Чтобы до

Егория внешнего к нему ни ногой. Пусть-тко господин офицер посохнет!

Николай Петрович в ту весну и лето словно совсем разума лишился, ни о чем ином, кроме Неонины, думать не мог.

Девушка приходила редко, оправдывалась — Киония не пускает, говорит, часто на мужчин смотреть грех, даже на мироотречников, а господин офицер и по-давно никонианин, нашей веры пока не принял. Думать о мужчинах тоже грех, как раз, говорит, дьявол и ухватит, у дьяволов праздников не бывает...

Силин понимающе кивал: — Ну, понятно, и грех, и соблазн кругом! — приносил дрова, разжигал печурку, садился на лежак у стены, смотрел, как девушка плещет воду по глиняным горшкам, думал — солнышко еще высоко, до вечера далеко... Крестьянская дочь, что ты с ним делаешь, Господи? Оба знали, что потом, перед самым уходом, так у них в то лето повелось, Неонила подойдет к нему, скажет со светлой улыбкой — ну, прощай, батюшка! — и не отойдет. А он положит ей отяжелевшие вдруг ладони на тонкую, сильную талию и привлечет тихонько к себе, и прижмется лицом к ее груди, и станет слушать, как колотится ее сердце. А она запустит пальцы в его густые кудри и замрут оба, и засветится оконце сиянием, весь мир отлетит прочь, и остановится время...

Раз Неонила, освободившись от его объятий, сказала грустно: — Вот прикажет старейший Еварист Евдокимович, и уйдешь ты в свой антихристов мир, а я тут останусь...

Силин, страшась остаться шаедине со своей растерянностью, тоскливо выговорил: — Побудь у меня еще хоть малое время, после я тебя провожу.

Девушка походила по избушке, не зная, на что решиться, потом села с ним рядом на топчане, спросила снова, старательно пряча глаза:

— А станешь ли меня вспоминать, как оставишь? Ты ведь нашу веру не при-
мешь, все равно уйдешь в эту зиму?

* Мытарство — по церковным верованиям, разные искусы, через которые проходит душа, покинув тело.

— Ты что же, хочешь, чтобы и я от мира отрекся?

Она объяснила серьезно, с полной убежденностью, что ни воля ее тут ничего не значат, ни желание, а если бы то от нее зависело, она б год с колен не вставала, только бы он остался...

Сраженный столь бесхитростным признанием, Силин словно прозрел: да не он же один мучается! Неонила тоже. Его словно воля подхватила — в тот же миг обнял девушку, нашел губами ее губы... Неонила первая разжала объятия, сказала все с той же убежденностью:

— Глянь-тко, батюшка, вон он, дьявол-то, из-за печи как выглядывает... — Платок повязала, уже выскочив за порог, Николаю Петровичу приказала: — А сидел бы ты в келье, батюшка, не провожал! У Кионии глаз вострый, как о поцелуйном нашем грехе догадается, так живо меня от тебя обратно отцелует... А то мы с тобой, батюшка, и до любодейного греха доцелуемся!

В тот раз, выслушав покаяние Неонилы о поцелуе, старейшая Киония, раздев ее до пояса, достала хлыст и отсчитала ей пять ударов повдоль спины и пять — поперек. Неонила и не охнула, ибо виделось ей сияние в серых с точечками глазах господина офицера.

Бросив хлыст, Киония проговорила: — Не для сечения, ради учения! — и, протянув Неониле лестовку, положила ей все те же сто поклонов. Утром объявила:

— Молилась я нынче, голубушка, и стало мне ясно: теперь господин офицер никуда от нас не денется, да только ты к нему пока не ходи.

— Как же долго не ходить, матушка?

— Пока спина и плечи не отойдут. Видишь, рубцы так и горят! Больно, поди?

В октябре, на большую Вселенскую субботу*, дьявол их обоих как раз и подстерег.

Вечером, в пятницу, уже дав Николаю Петровичу нацеловать свои губы, уже введ руки в рукава полупубка, Неонила возьми да и спроси:

— Завтра в утреницу усопших своих будем поминать. Не хочешь и ты с нами помолиться?

Николай Петрович, еще не пришедший в себя от сладостных минут, вдруг подумал о погибшем в Восточной Пруссии в четырнадцатом году отце-подполковнике, о матушке, о сестре, которые вот уже год как мучаются в Новониколаевске под игом совдепии и вездесущей чека, и так сердце у него защемило... Подступил к Неониле, взял ее за руки:

— Где же будет ваше моление? В келье?

— Зачем в келье? Община соберется в Раслуге, старейший наш Еварист Евдокимович приехал, всех туда зовет. Только выйти надо с полуночи.

— Не понимаю, как ты все это себе представляешь? Я пойду в Раслуг один?

— Зачем один? Я у тебя до того часа и побуду, там вместе пойдем... — Она смотрела в глаза Николая Петровича, и никакой лукавой мысли не ощутил он в этом честном, прямом взгляде. Хотя должна же была понимать, на что решалась.

— Но послушай... ты уже не маленькая! Ты видишь, что со мной творится... Видишь, правда? И ты хочешь тут остаться в ночь?

Неонила ответила, как наставила ее Киония: — Чему быть, того не миновать. Все во власти Божией, а ты ведь мне зла не желаешь?

Николай Петрович ей зла не желал, это уж точно. В этой смышленной, стройной, с прелестным овалом лица мироотречнице, в карих ее глазах был теперь для него весь Божий мир. И лишить себя этого мира он не мог.

Он приготовил Неониле ложе на топчане, сам устроился на полу. Здесь было, конечно же, куда холоднее, чем на топчане: нагретый воздух от печи уходил

* 26 октября по старому стилю.

вверх, плахи пола оставались холодными. Николай Петрович смежил веки, слушая, как Неонила укладывается на топчане, потом в избушке наступила тишина. Он лежал на спине, вытянув руки вдоль тела. За окном монотонно шумел мелкий, еще с вечера начавшийся дождь. Неонила будто спала, дыхание было ровным, спокойным. Он мог встать, шагнуть к девушке. Но она бесхитростно верила себя его чести, так доверчиво... Но вот она заворочалась, встала, сунула ноги в постолы, пошла к двери... Стукнул деревянный ковшик о бадейку, капля-другая упала... Напилась, значит... Потом вдруг наклонилась к нему, и он ощутил лицом ее теплое дыхание. Прошептала тихонько:

— Не спишь, батюшка?

Николай Петрович выпростал из-под полусубка руку, осторожно положил ладонь ей на голову — все остальное свершилось само собой...

Неонила последний раз прижалась к нему, вздохнула: — Ну, пусти-тко меня, светушка, а ты вздремни, вздремни, я тебя скоро разбуджу. — И ушла на топчан.

В какой-то миг Николай Петрович услышал: дождевые капли не били в оконце, над избушкой стояла тишина, и он, весь переполненный ощущением покоя и счастья, улыбнулся сам себе в ночной тьме... Ах, Боже мой, да неужели. Это случилось? Это было с ним, здесь, сейчас? Неужели так бывает в жизни?

...Дождь еще с вечера перешел в снегопад.

Густые мохнатые хлопья понеслись с низких, невидимых в ночи туч на раскисшую землю и примолкшие сосны, на гремящую под обрывом реку...

Когда пришло время идти, Неонила села на топчане. Нащупывая ногами постолы, позвала ласково: — Просыпайся, светушка, нам в путь пора...

Они вышли на порог и стали: черное, без звезд небо висело над светлыми от

павшего снега соснами. Николай Петрович привлек девушку к себе, тронул пальцами ее щеки, лоб, губы. Что же станем делать, милая ты моя? Может, поклонимся твоему Еваристу Евдокимовичу, отпустил бы он нас...

Неонила ответила печально:

— Ты-то можешь уйти, а мне Господь не велит. Я свой грех епитимьей покрою. Пока не замолю, к тебе не приду, ты уж не горюй без меня, ладно? Ну, пошли. А как придем, ты помолись вместе со всеми...

IV

После моления Еварист Евдокимович подозвал к себе Кионию и Неонилу, а Николаю Петровичу сказал: — Рад за тебя, что к молитве нашей приобщился. Ты наберись терпения, посиди вон там, в уголке, сейчас мы с тобой побеседуем.

Когда Силин, согласно кивнув, отошел, Еварист Евдокимович оглянулся, подозвал девочку, поставил ее перед собой лицом к Неониле и Кионии, объяснил, положив ладони на худенькие плечи ребенка:

— Отыскалась дочушка моя, из Томской пустыни ныне привезена. Взяли бы вы ее к себе в келью, да наставила бы ты ее уму-разуму, мать Киония, а в вере истинно православной она крепка.

Киония опустила на колени перед Еваристом Евдокимовичем, припала губами к его руке, лежавшей на плече девочки.

— Спасибо, отче, что доверил. А матерью-то ее где же?

— О том один Господь ведает. Ушла в странствие еще в девятьсот одиннадцатом году и до се не объявилась.

Киония поднялась, поглядела на девочку, спросила:

— Как звать-то тебя?

— Александрой, матушка.

— Пойдешь ли в мою келью?

— Как батюшка мой Еварист велит.

— А меня полюбишь ли?

— Единого Христа люблю, заступника нашего, иных только слушаюсь.

Киония приговорила: — Ну и быть по сему. Пойдем, покажи, где одежонка, соберем тебя. А это сестра тебе будет по Христу, Неонилой зовут. Она девушка добрая, тебе с ней легко будет...

Потом Еварист Евдокимович сказал терпеливо ожидавшемуся Николаю Петровичу: — Ну, твой час пробил. Принесли мне письмо от твоей сестрицы из Новониколаевска. Прочтешь, так размысли, что дальше делать станем. Сочтешь, что долг твой повелевает вернуться в мир, так в эту зиму отпущу, документ дам, до самой Перми тебя и доставят. А нет, так оставайся у нас, тут безопасно.

«Здравствуй, любимый мой братец!

Вот уж истинно не знаем, какому Богу помолиться от радости такой неожиданной! Мы ведь тебя оплакали. Еще в прошлом ноябре побывал у нас твой однопольчанин Михаил Степинский, рассказал о страшном бое у села Дворецкого. Говорил, что среди отступивших с того поля тебя не было, так что записали тебя в павшие. Матушка тогда же слегла, думала, уж и не выхожу ее. Однако Бог милостив, все обошлось, только правая рука совсем отнялась.

Живем скудно, однако же пайком меня не обошли и дворянством не попрекают. Я теперь совслужащая, служба моя в комиссии по борьбе с тифом. Сокращения в названиях, принятые при новой власти, делают нашу сугубо гуманную организацию весьма прозной: Сибтифчека, но это совсем не та комиссия, из которой к нам дважды приходили «товарищи» в кожаных тужурках и ремнях. Им известно, что ты в мае восемнадцатого года причастен был к аресту Шамшина, и они хотели знать, насколько верен слух о твоей смерти.

Теперь я обязана пойти в губчека, к самому товарищу Дубровинскому, и сделать официальное признание, что смерть

тебя миновала, что ты жив, и пусть тебя найдут и покарают... Разумеется, я не стану доносить на родного братца, но недоносительство превращает меня в укрытательницу и сообщницу, за что кара мне будет не менее жестокой, чем тебе — попадись мы в их руки. Так ты уж сделай милость, к нам пока не появляйся: не хочу, чтобы ты снова умер и чтобы матушка наша осталась одна-одинешенька.

Будет оказия, пиши, нам весточка от тебя радость великая. Женщина, что принесла письмо, такая уж набожная, и девочка при ней прямо как звереныш, нас с матушкой не то стыдилась, не то дичилась, я и не поняла, что к чему. Ну, прощай пока, братец! Любящая тебя сестра твоя родная Лидия. Матушка сама писать не может, просит от нее приписать: «Христос тебя спаси и оборони! Хотелось бы тебя увидеть, прижать к груди своей, да ведь нельзя... Видно, так и умру, тебя больше не увижу.»

От Раслуга шли все вместе: Николай Петрович впереди, за ним девочка; Киония и Неонила, чуть поотстав, о чем-то своим перешептывались.

Даже под черным монашеским платком, скрывавшим и ее белый, высокий лоб, и нежный подбородок, лицо Неонилы виделось Николаю Петровичу непередаваемо прекрасным, и сразу же припомнилась минувшая ночь — всего этого лишиться? Вслед за этим и другое подумалось: да ведь и останься он здесь, опять же только на мучение: Неонила по их темной вере грешница великая, если что узнается, ее анафеме предадут, от него в такую глухомань упрячут — сто лет будешь искать, не доищешься! И он ясно увидел, что угодил в капкан, могучий и жестокий... Господь всемогущий, да в наши ли дни такое происходит? Страсти средневековые, да и только!

Еще с час они молча шагали, растянувшись гуськом по заснеженной тропе. Девочка так и держалась позади Сирина. Она, по всему видно, была терпелива и

вынослива, ни хныканья, ни жалоб себе не позволяла. Зовут ее Александра. В миру, значит, был Еварист Евдокимович женат, а потом жена ушла в странницы, дочь оставила на кого-то... Что, если уговорить Неонилу уехать вместе с ним?

К нему в избушку женщины заходить не стали, торопились засветло добраться до своей кельи. Силин все старался уловить взгляд Неонилы, чтобы понять, придет ли она в эти дни, она же, уже пройдя по тропке вслед за Кионией несколько шагов, вдруг обернулась. И в глазах ее Николай Петрович увидел все, чего себе желал: любовь, и веру, и преданность...

Неонила в ту ночь выдержала жгучий взгляд Кионии, но всей правды не открыла и в грехе последнем, главном и великом, не созналась, только прежний грех на душу взяла: нацеловал, мол, господин офицер мои губы, а дальше ни-ни. Киония с сомнением спросила: — Неужто для него те поцелуи такая ли сладость, что из-за них пошел послушно за тобой на наше моление? Неонила, не отводя глаз, созналась: и господин офицер ее целовал, и она ему отвечала, и в том де ее великий грех, ибо она сама поцелуев жаждала, и обнимала, и отпустить от себя не хотела. Потому просила наложить епитимью не сотенную, но тысячную. При том Неонила думала, что за то невиданное прежде блаженство, какое досталось ей в минувшую ночь, тысячной епитимьи достаточно, а ударов хлыстом по вдоль и поперек спины принимать ей никакого резона нет: сколько Киония ударов положит, неизвестно, а рубцы не скоро заживут, и тогда ей светушку Николая Петровича долго-долго не видеть...

Всю ночь Неонила епитимствовала: опустись на колени, сотвори крестное знамение, поклонись, чтобы лбом в пол, встань, сдвинь бусину на лестовке, число

поклонов в уме держать нельзя, на каком-либо собьешься, да и от мыслей о Боге число отвращает, и снова на колени, поклонись земно... Так раз за разом, на тридцатом либо сороковом поклоне занеет спина, занеуют ноги, а после пятого десятка потемнеет в глазах и встанет в ушах грохот, а впереди еще девять сотен поклонов...

Уже и ноги ее не держали, и рука правая занемела, но она упорно епитимствовала, пока не легла вдруг грудью на пол и больше не встала. Носом пошла кровь...

Неонила запрокинула голову, позвала негромко, чтобы не разбудить Александра:

— Пособи, старейшая, кровищу унять...

Киония поднялась с лекака. Увидев в мигающем свете огарка кровь на лице девушки, смилостивилась — прервись пока, завтра продолжишь. — Бросила Неониле тряпицу: — Иди, сполосни лицо холодной водой.

Неонила вздохнула судорожно, не вставая.

— Продолжу, матушка. Не завтра, сейчас, как кровь уймется.

Киония взяла ковшник, плеснула холодной воды на лицо девушки, и еще раз: — Утрись да полежи спокойно. Пол, поди, тоже закапала?

Еще трижды приходила к Николаю Петровичу Неонила, и все три раза с Александрой.

Диковатая девочка смотрела на Силина сумрачно, непримиримо, словно видела в нем врага, и Николай Петрович не мог взять в толк, с чем это связано. Неонила словно бы загораживается от него девочкой, потому что при Александре ничего нельзя: ни обнять, ни даже просто взять за руку.

В последний свой приход девочка принесла с собой древнюю книгу — то было жизнеописание богоносного отца Василия Нового. В избушке бережно развернула

шерстяной платок, в который укутала книгу, объявила торжественно: как, мол, сестрица Неонила с обедом управится, так я вам читать стану.

Шел уже декабрь, мороз порядочный, как всегда на Рождество, но Николаю Петровичу, когда в избушке крутилась Неонила, все было нишчем. Отрадой было уже только смотреть на нее, статную, гибкую даже в том несуразном, широком, что было на ней надето. За дровишками выскакивал во двор без полушубка и без шапки, таскал охапки дров и бадейки с ледяной водой: Неонила в тот раз затеяла еще и стирку. Веревки, чтобы развесить на морозе рубахи Силина, не было, так Неонила разложила выстиранное поверху невысокой поленицы, Николай Петрович помогал ей, держал бадейку с постиранным.

Александра к ним не раз подступала с вопросом: когда начнем читать? Когда же дело дошло до чтения, взяла книгу, бережно уложила на вытертый начисто стол, аккуратно раскрыла и стала перебрасывать желтоватые от старости листы, пока не дошла до олеографии — Федора на смертном ложе, и сама смерть с косой у ее изголовья, рядом же ангелы и демоны в споре меж собой... Посмотрев страшную картину, девочка повела пальчиком по строчкам: «...И стали сравнивать грехи с благими делами моими, когда хлеба дала убогому, или наполнила страждущего, или болящего посетила и в темницах заключенных, и ходила с усердием в церковь на молитву...»

Голосок у Александры чистый, звонкий; старославянские письмена читает легко, не запинаясь...

За окном меж тем давно стемнело, Неонила словно бы и не замечала, что время позднее, Силин тоже помалкивал, томимый не то жаром, не то сладким предчувствием... Жировушка ровно горит, от печи тепло, и ничего в мире нет, кроме чистого голоса девочки, истово верящей в древние слова.

Неонила вдруг придвинулась к Нико-

лаю Петровичу, положила руку ему на лоб — ахти, батюшка, да ты весь горящий! Видать, прохватило тебя морозом...

Александра удивленно подняла личико от книги. Неонила возьми да спроси: «Что же ставем с ним делать? Болящий ведь он, испроствы, его всю ночь надо горячим поить. Неужто оставим?»

Александра ответила совсем по-взрослому: — Болящего в беде бросить — грех на душу возьмем...

Неонила устроила девочку на топчане. Прежде чем улечься, та, став на колени, помолилась молча, чуть заметно шевеля пухлыми губами, осенила себя крестным знамением. Улеглась, утихла, потом вдруг сказала: — Сестрица Неонила, как устанешь, меня буди, я за больным досмотрю.

Николай Петрович, укрытый двумя полушубками, своим и Неонины, до полуночи горел жаром, ломило раненое плечо. Выныривая не то из забытья, не то из лихорадочного сна, видел он совсем близко милое, прекрасное лицо Неонины. Она сняла свой вечный черный платок, и ее длинные каштановые волосы рассыпались. Она приникла головой к его груди, обняла крепко, шептала: — Светушка мой, что же не поберегся? Ты спи-усни, утречком Бог хворобу снимет... — и Николай Петрович забывался на какое-то время, потом, в который раз открыв глаза, снова и снова видел рядом лицо Неонины, и пил из ее рук что-то горячее, терпкое...

Под самое утро жар вдруг отступил, голова стала совсем ясной, и он, не то всерьез, не то подшучивая над собой, спросил прижавшуюся к нему Неонилу: — Чем хворь с меня сняла? Молитвой?

Неонила тихонько, счастливо засмеялась — не знаешь нечто? Хворого пост, а пьяного молитва до Господа не доходит!

— Но постой! Ты ведь не больна...

— Нет, светушка мой, не хвораю я, а совсем спянилась... Какая от меня Господу молитва, пока не покаюсь?

— Чем же пьяная? Не понимаю...

— Тобой пьяная, светушка, тобой, неглядный мой...

Они помолчали, обнимая друг друга. Неонила шепнула, упрятав лицо в воротник полушубка: — Ты не бойся, не бойся, Александра под утро крепко спит, ее и будить станешь, так не враз добудишься...

V

Старейший Ныробской страны Еварист Евдокимович приходу Силина откровенно обрадовался; он уже знал, что Николай Петрович подхватил не то простуду, не то лихорадку и что сестра Неонила неделю его выхаживала. Неониле, стоявшей смиренно поодаль, у порога, Еварист Евдокимович сказал, что столь благое дело ей Господом зачтется — она тут же подошла, опустилась на колени, и Еварист Евдокимович дал ей руку для поцелуя.

После заутрени пошли гурьбой к Илычу.

Силин высмотрел четырех ребятишек, двух девочек и двух мальчиков, они впереди всех спокойно вышагивали по нахоженной в снегу тропке, было им лет по шести-семи; взрослые, мужчины и женщины, тоже шли спокойно. Уже заметно рассвело, и Николай Петрович видел в лицах благость и торжественность, и не совсем, не до конца понимал, что сейчас произойдет...

С них, с детей, и начали.

Какая-то женщина без тени боязни или тревоги сняла с белоголовой девочки тулупчик, валеночки, юбочку да кофенку. Силин содрогнулся в душе: холодно же ей! Еварист Евдокимович подхватил голенькую девочку под мышки, понес к проруби и медленно опустил белые, тоненькие, скрученные судорогой ножонки в черную, стылую воду.

Люди вокруг, стоя на коленях в снегу, запели: «Величаем тя, живодавец Христе, нас ради ныне во плоти родившегося...»

Николай Петрович увидел остекленевшие глаза девочки, раскрытый без крика рот. Охваченный смятением, он поднялся и пошел прочь от толпы. Смотреть на такое было выше его сил!

Неонила тут же догнала Николая Петровича, ухватила за рукав: — Пстой! Что же ты, батюшка, закон наш рупишь? Неужели тебе не по душе? Они ведь Господу себя вручают.

Силин резко оборотился, стиснул руками плечи девушки — о том, что кто-то их сейчас увидит, даже не подумалось.

— Да ведь погибнут дети, разве не понимаешь? В такой мороз — да в ледяную прорубь!

— Кто умрет, того душу Господь к себе сразу забирает, ей спасение и вечная благодать. Кто жив остается...

— Разве после такого выживают?

— А бывает, бывает, так тех детишек родители все равно Господу отдают, в скиты, они уж родителям не принадлежат...

— Ну что же это такое? Как вы можете? — Николай Петрович, давно отпустивший плечи Неонины, в отчаянье махнул рукой, побежал от страшного места...

Неонила метнулась к проруби, из которой Еварист уже вытащил окаменевшую девочку, подняла с колен Александру, приказала: — Беги за мной шибче! — и, не оглядываясь, побежала — Николай Петрович в эти минуты далеко успел уйти...

Та ночь, после крещения детей на Илыче, тяжело далась Николаю Петровичу, спать не мог: закроешь глаза, видит скрученные судорогой ножонки, разинутый ротик.

Он вздыхал и ворочался, вставал к кадушке с водой; под утро не вынес, вышел на порог — тут же вынырнула на мороз Неонила, прикрыла за собой дверь, сказала вполголоса: Пусти-ка, светушка! — отбросила полу его полушубка, пристроилась под его левой рукой, обня-

ла, и он с содроганием ощутил всю ее, теплую, желанную, и вдруг ожгла мысль: а если она скажет мне — оставайся. Иначе — прощай! Что тогда?!

Утренний мороз загнал их обратно в избушку. Неонила, удостоверившись, что Александра, разметавшаяся на лежаке, крепко спит, прилегла рядом с Николаем Петровичем, спросила: — Что ты, светушка, так уж больно убиваешься? У нас никто никого не неволит, крестят только, у кого душа к Господу бьется. Матери и отцы своих детишек сами ведь к старейшему Евариству Евдокимовичу привели, он никого не принуждал...

Но ни этот убаюкивающий шепот, ни тепло нежных рук Неонила не могли успокоить Николая Петровича. Думал он теперь совсем о другом: может же настать день, когда Неонила сочтет, что грех свой замолила, захочет креститься...

С рассветом Неонила растолкала Александра, помогла девочке одеться. Есть и пить чай не стала, попрощалась сухо, словно чужая, — Николай Петрович отчетливо все смотрел на Александру: еще одна будущая мученица...

Вот минул день Анисьи-желудочницы, 30 декабря, за ним и Новый год, и еще неделя промчалась. Никто к Силину не навещался, он сам себя кормил картошкой толченой да ячневой кашей, хлеб у него кончился.

В один из дней он проснулся с таким острым ощущением тревоги, что, разложив огонь в печи, тут же не выдержал, затушил. С тем же душевным ожесточением, с каким, бывало, ходил в рукопашные, набросил полушубок, схватил треух и вышел из избушки. Он не понимал, что с ним творится; что-то погнало его к келье, где пряталась от него Неонила.

Вдавленные в пушистый снег следы вели его все выше и выше, от быстрой ходьбы он начал задыхаться.

Черная избушка мелькнула неправдо-

подобно близко меж серыми стволами невысоких сосенок. Силин бросился бежать. У ступенек остановился, чтобы перевести дыхание, услышал шум в ушах. Еще мелькнуло: вот Неонила удивится! Скажет: «Как же ты насмелился?»

Он ударил в дверь — раз, другой. Прислушался — ответом была мертвая, звенящая тишина... С силой рванул дверь, через сенцы прошел в комнатенку — и сразу ощутил лицом холод — стылый, неживой.

Келья была пуста.

Выглянуло солнце, сквозь крохотное окно пробилось узкой полосой — в келье будто что вспыхнуло, и стали ясно видны черный, грубо сколоченный стол и едва оструганные доски лежаков, и в красном углу киотка без икон...

Силин выскочил на улицу, пропахивая глубокий снег, обошел избежку. Что за беда нагрянула? Куда могли они исчезнуть? Выбрался на свою тропку, побежал... И тут только опомнился: куда он бежит? Если ушли совсем, то Еварист не может не знать куда! Надо к нему, в Раслуг! Если же Евариста в Раслуге нет, тогда — в Ныроб, или на Кудыкину гору, взять за глотку, и Неонилу из его лап вырвать!

Мысли о похищенной у него Неониле, о жестоком мщении за нее гнали Силина в Раслуг.

В душе его вспыхнула ожесточенность, гневная и яростная. В ней больше не было благодарности Евариству — ни за то, что спас, ни за то, что приютил, укрыл на два года...

Он на миг остановился: ясно увидел, как все будет. Он бросится на степенного старца, опрокинет на половицы, и никто не успеет помешать, не посмеет вмешаться. Он спросит грозно — вернешь мне Неонилу? — и будет держать поверженного, задыхающегося старца, пока тот не взмолится о пощаде...

Николай Петрович стащил треух с го-

ловы, провел по волосам ладонью — темя и затылок взмокли. То ли от бега, то ли от испуганного потрясения.

Он словно очнулся: Раслуг лежал в низинке...

Неонила как ни рвалась душой к своему офицеру, но решению старейшей Кионии подчинилась беспрекословно. Первые дни жила и молилась с надеждой: а вот помахнешься, мой светушка, так и прибежишь, а я тебе ласково в глаза гляну, и поймешь, что нет моей вины в разлуке... К концу той же недели кинуло ее однажды в жар, подкатила тошнота к горлу. Еще два дня спустя, как ни была Неонила в таких делах неопытной, бабьим сердцем почуяла: сама и угодила в те дьявольские тенета, которые они вдвоем с Кионией расставляли спасенному от смерти офицеру.

Вечером, диковато поглядывая на Кионию из своего угла, — сидела неприбранная, без черного платка, на топчане, подбрав ноги, — сказала:

— Готовь мне ештитью великую, матушка! — И бросилась на пол, распласталась на холодных досках...

Киония сразу все поняла в единый миг, бросила замершей в испуге Александру:

— А выйди, чадуня, за дверь, я кликну! — И, наклонясь над распластавшейся Неонилой, спросила негромко: — То ли давеча при покаянии что от меня укрыла?

— Укрыла, матушка, грех любодейный с господином офицером... — Неонила душили слезы, но не смела шевельнуть рукой, поднести к глазам зажатый в пальцах платок.

— Что же теперь открылась?

— Дьявол меня подстерег, матушка! Понесла я...

Старейшая успокоилась: чего втайне хотела, что затевала прошлой осенью, то и вышло. Теперь-то уж господину офицеру точно деваться некуда, не уйдет! И веру примет!

— Повторяй за мной Давидов восьмой

псалом: «Господи, Господь наш, яко чудно имя твое по всей земли...» — прочла нараспев, склонив голову; помолчала, слушая, как повторяет ее слова распростертая у ног Неонила. Снова пошла глазами по псалму: «Яко узрю небеса, твоими перстами сотворенные, луну и звезды: аще ты основал...» Когда псалом прочли весь, Киония проговорила:

— Завтра уйдем в Раслуг, к старейшему нашему Еваристу Евдокимовичу. За наши души он один перед Господом в ответе, он же и заступник наш. Встань, я Александру кликну, заколела, поди, на морозе. Слезами свои сорок пять поклонов окропишь, как Александра спать ляжет. Не след смущать детскую душу грешными делами нашими.

VI

...Еварист Евдокимович, выслушав Кионию, был с ней согласен. Если господин офицер Неонилу и вправду возлюбил, то все содеянное — к пользе и славе Божией: офицер будет сидеть в своей одинокой келье, сколько терпения хватит, потомкинется на розыск Неонилы и мимо Раслуга не пройдет, и можно будет высказать ему свои резоны... Он успокоил Кионию: Господь благ и милостив, как ни велик грех Неонила, а и его искупить можно. Однако придется Неонилу из братства удалить, чтобы иных миротречниц не смущать — пусть уедет куда-либо в мирскую пристань, там родит младенца и еще два либо три года его пестует, а после отдаст Богу, сама же уйдет странствовать от Ныробского братства подале. Это и будет искуплением греха.

Киония с потовностью на все согласилась, и в тот же день Еварист Евдокимович всех троих — Кионию, Неонилу и дочь свою Александру — отправил со своим помощником Киприаном Осиповичем на Колву, в Ныробскую пристань, велел там дожидаться его приказа на дальнейшее.

Силин пришел в Раслуг близко к вечеру, в избе треух скинул, оглянулся в угол, на киотку с медными литыми иконами, широко перекрестился по-никониански, щепотью, проговорил глухо:

— Ну что, Еварист Евдокимович, людски со мной обойдешься или как с собакой?

Еварист Евдокимович медленно поднялся, спросил бестрепетно, словно знал, что ничего худого этот бывший офицер ему причинить не способен:

— Неужто руку на меня готов поднять?

Силин, не сбросив полушубка, шатнул от порога, стиснутые кулаки за спину, однако голос сдержал:

— А если добром не поладим?

— Какого же добра разыскуешь?

— Сам знаешь!

— Стало быть — Неонила?

— Стало быть — она... — Николай Петрович шагнул еще, лицо его потемнело, он задохнулся...

— Что ты мне сказать хочешь, то я, Николай Петрович, наперед знаю. Что я тебе сказать могу — тебе неведомо.

— Мне все ведомо, кроме одного: куда Неонилу упрятал?

— Однако гневен ты... Неужто совсем из рассудка выбыл? Я ведь тебя жду, знал: прибежишь. За той дверью люди мои сидят. Как голос возвышу, они и ворвутся, ты же безоружен, и придет твоя смерть...

— Испугал! Я теперь после своей смерти живу. Думал, найду у тебя справедливость! Напрасно, меня на том поле не оставил. Зарыли бы в братской могиле — не знал бы душевной муки...

— Сядь-ка... — примиренно сказал старец. — Зачем тебе Неонила? Ответствуй!

— Люблю.

— Как можно? Она мироотречница!

— Женщина она! Жена мне!

...Еварист Евдокимович, конечно же, видел: нет здесь блуда, офицер и Неонила предались друг другу душевно... И поднялось в нем давно похороненное,

увидел лестницу в доме преимущественно старейшего Арсения и на ней озаренную солнечным светом Аниску, и тот сладостно-прекрасный месяц, когда поднимался по ночам в ее светелку, и ее трепетно-нежные руки... Где-то она сейчас, странница Аниска? Жива ли? Александре двенадцатый год, вот уж эта растет мироотречницей истинной... Так что же будет пользы для Господа от того, что слюбились Неонила и этот, с трудом, через силу смиряющий себя офицер ныне исчезнувшего белого воинства? Какую пользу получит из всего этого братство? Спросил: — Ну и отдал бы я тебе Неонилу — что стал бы делать? В братстве такого грехопадения терпеть не вправе, обязан буду вас обоих изгнать!

— Уйдем мы, уйдем! — Силин затормозился, в нем вдруг вспыхнула надежда... — Я ей ни боли, ни горя не причиню, оберегать ее стану, буду ей защитой.

Еварист Евдокимович покачал головой — да какая же ты ей опора и защита? Ныне на русской земле власть совдепии, тебе бы самому от той власти спастись... Опять же Неонила — истинно православная христианка, ты же от никонианской ереси не очистился, хотя священные наши книги читал.

— Вера ваша ложная, — сказал Силин с горьким осознанием напрасно сколыхнувшей его надежды, — она человеческое естество отрицает, сладость душевной любви не приемлет... Что братство твое совдепию не признает — правильно, что меня два года от комиссаров и чекистов укрывал — за то тебе моя благодарность. А скажи, остался кто в живых из ребятишек, которых ты крестил на Рождество?

Еварист Евдокимович и не помрачнел, и не посуровел, ибо ни беды, ни горя не видел в том, что все четверо в два дня умерли. Ответил: — У Господа не спросишь, кому что приурочено... А что ты Неониле муж — это по каким законам? По нашим — нет. По никонианским тоже нет. Разве вас кто обвенчал? Слова

заветные у нас сказаны? По всем законам, хоть по нашим, хоть по вашим, грех на вас обоих. Станешь ли ты свой грех замалчивать, не знаю. Указать тебе не вправе. Неонила же свой грех замолит по нашим законам, я помогу. Что теперь скажешь, Николай Петрович? Как с человеком говорю или как с собакой?

Силин молчал: ответить было нечем, в душе осталась одна лишь тоска...

Старейший подошел к двери в заднюю комнату, распахнул резким толчком — там было темно, ни шороха, ни вдоха. Снова сел на лавку, вздохнул: — Что я тебя ждал — правду сказал. Что мужиков тут посадил — нет. Мне мужики в таком деле только помеха, по всему бы братству разнесли, какой великий грех сотворила мироотречница. А мне нашу чистоту блюсти положено. Ты сиди, сиди, главного ты от меня еще не услышал.

Еварист выдержал долгую паузу, как бы готовя господина офицера к еще одному душевному потрясению.

— По Господним заповедям Неонила отринуть ни Бога, ни веру не может, однако придется ей на время вернуться в мир. Она, Николай Петрович, беременна...

У Силина звон пошел в голове. Старейший приблизил к нему свое строгое лицо в густой каштановой бороде, произнес непререкаемо:

— Дашь слово, что поперек наших Божьих законов не встанешь? Что в урочный час Неонила с младенцем уйдет в скит, и ты их ни силой, ни обманом не удержишь? Сам их ко мне привезешь и примешь из моих рук крещение?

Вот когда Силин сам собой сполз с лавки, ткнулся лбом в протянувшиеся к нему ладони Евариста Евдокимовича. Сейчас он готов был на что угодно, только бы вернули ему Неонилу...

Еварист Евдокимович заполнил чистый бланк Ныробского уездного продкомиссара, вписал в мандат с печатью имя

и фамилию Силина — тот понял: кого-то своего имеет старейший и среди большевиков, иначе как бы такую бумагу раздобыл?

С этим же мандатом старейший вручил Силину то, что считалось в совдепии деньгами, объяснил, где найти Неонилу. Дал и письмо к Кионии. На словах же разъяснил, что поручает ему и Неониле дочь свою Александру, которой предстоит креститься через два года. Он желает, чтобы Неонила, пестуя свое дитя, в эти два года подготовила бы Александру к крещению. Заодно девочка будет и помощницей Неониле, с дитем много хлопот... У Силина при этом мысль мелькнула — убьет ведь Еварист свою дочку в ледяной проруби... Но он промолчал, в два предстоящих года много может случиться!..

К ночи дедок подвез Силина к огромному, на два этажа, дому, сложенному из почерневших, в обхват, бревен, с двускатной крышей, и с галереей по второму этажу. Это был дом Ипатия Попова, жилого члена общины истинно православных христиан. Ипатий держал пристань для странствующих скрытников, давал кров, мог одеть и обути, для этой цели держал наготове одежду и обувь, что женскую, что мужскую. Богатство его шло от торговли, которую вели он и три его брата. Правда, в минувшие годы военного коммунизма и гражданской войны их совдепия поприжала, но теперь, кажется, снова можно было наладить торговые дела, а торговать братья умели. В доме Ипатия Еварист как раз и делал остановку, когда вез раненого штабс-капитана на север, на Илыч.

В ясном свете луны Силин взбежал на высокое крыльцо под навесом, взялся нетерпеливо за железную скобу на двери — заперта, и он с силой бухнул в нее кулаком.

Кто-то проворно подбежал к двери с той стороны, спросил приглушенно — какого гостышку судья посылает? Голос был женский, Силину незнакомый.

— От Евариста Евдокимовича посланный Архип Неупокоев, отворяй, не то замерзнем! — ответил возчик из-за его плеча, резонно полагая, что Силин и не знает толком, что и как сказать.

Еще минуту спустя на шею Николаю Петровичу кинулась Неонила, повисла на нем, покрыла его замерзший лоб, и щеки, и глаза мелкими торопливыми поцелуями — внял-таки Господь моим мольбам, моим слезам! — обернулась счастливым лицом к стоявшей поодаль старейшей Кионии: — Видишь, матушка, все по-божески устроилось!..

VII

Николай Петрович Силин, в недавнем прошлом штабс-капитан и пепеляевский ударник, во имя своей любви готов был сражаться хоть с совдепией, хоть с самим дьяволом. Не испытывая ни страха, ни даже волнения, он явился к комиссару Пермского железнодорожного узла, выложил свои бумаги и, усевшись без приглашения, спросил устало, чем может ему помочь товарищ комиссар. Слова эти — «товарищ комиссар» — произнес уверенно, отменяя этим саму возможность отказа в помощи.

Комиссар узла — сухощавый, иссиня-бритый, мазнул взглядом по мандату Силина. Чин по нынешним временам высокий. Покатал желваки на тугих обтянутых кожей щеках. Спросил:

— Какой помощи ждешь от меня, товарищ?

Николай Петрович вздохнул:

— Должен довести до Новониколаевска беременную жену и приемную дочь. Посади в любой подходящий... — и остановился: «век буду за тебя Бога молить» добавлять было, конечно же, нельзя.

— Сегодня составов на восток не жду. Завтра может пройти два-три эшелона с голодающими беженцами. Тебе положена отдельная теплушка, но ты, товарищ, не обессудь, все вагоны в разгоне, ждать придется долго. Если подсажу к кому-нибудь — поедешь?

— Что спрашиваешь, товарищ?

«Смотри-ка, совестливый какой комиссар, — подумал Силин. — Два года назад поднял бы тебя на штык — глазом бы не моргнул...»

— Есть где переночевать? А то здесь... — комиссар повел рукой, — не советую... Тиф у нас. Завтра к двенадцати жду, раньше первый эшелон не отправим. Ну, давай пять!

Он встал, протянул руку, и только тут Силин понял, что «дать пять» означает у комиссаров пожать руку.

Отправляя Неонилу и старейшую Кионию, да еще и с Александрой из Раслуга в Ныроб, Еварист Евдокимович спросил девушку, чего все же ей больше хочется: вернуться в грешный мир Антихриста или спасти вечную свою душу?

Неонила, стоя перед ним на коленях и уже понимая, что Еварист Евдокимович может и отпустить ее до урочного часа, а может и упрятать в чужое братство, хоть в Вятское, хоть в Казанское, хоть в Томскую пустынь, колебалась недолго. Когда старейший спросил ласково, сильно ли полюбила господина офицера, Неонила прошептала:

— А хоть и сильно, батюшка, но и ради него от Господа не отрекись, грех свой епитимьей покрою, замолю...

— Старейшая Киония сказывала, все ради того затеяно, чтобы господин офицер к нашей истинной вере приобщился. С этим ли желанием к нему ходила?

— С этим, старейший, с этим! — И слезы сами собой покатались по щекам, капелька за капелькой.

— Что же теперь, отказаться от господина офицера? — сурово спросил Еварист. — Изгоним в антихристов мир, и пусть его душа погибнет?

— Как же быть, старейший? Научи...

— А дитя свое, как родишь, куда денешь?

Неонила с готовностью: — К тебе привезу, ты его к Богу приобщишь.

— Ну, слушай меня. Я с господином офицером, как явится, сам перетолкую, а тебе со старейшей Кионией — тотчас ехать в Ныроб, там моего решения дожидаться...

Теперь, когда уже проехали в беженском эшелоне столько верст, когда соседки по теплушке, женщины много ее старше, которых она в душе поначалу робела, признали ее женой Николая Петровича и перенесли на нее свое уважение к нему, и выказали ей такое людское участие, и когда захороводинились вокруг нее, вокруг припасенных в ее баулах вкусенького да сладенького четверо чужих ребятишек, благоговейно лоя ее ласковые взгляды, и даже замкнувшаяся в неприятии мира двенадцатилетняя Александра стала по вечерам просить едва слышным шепотком: «Благослови на сон, сестрица», и когда поняла Неонила, что Николай Петрович будет до скончания века оберегать ее и заботиться — вот в одну из ночей, уже где-то совсем недалеко от Новониколаевска, Неонила вдруг подумала: а нужно ли всеблагому Господу, чтобы разрушился весь этот покой в ее душе, чтобы лишилась она всей душевной благодати? Подумала и ужаснулась святотатственной своей мысли, поняла: страшится всего того, что уготовил для нее, для ее жизни Еварист Евдокимович...

Силин за время пути тщательно и всесторонне, как ему казалось, продумал, как надо поступить по приезду в Новониколаевск. Сестра в своем письме была права: в родной дом идти нельзя.

Но жила в Новониколаевске, в двухэтажном бревенчатом доме на Михайловской улице милая и славная Мария Нестерова Кушко, подполковничья вдова. Муж ее, командуя полком, погиб еще в сентябре восемнадцатого, при оставлении белыми Симбирска, и осталась Мария Нестерова с двумя детьми, мальчиком и девоч-

кой. Чтобы хоть как-нибудь прокормиться в эти тяжелые времена, Мария Нестерова пошла сиделкой в офицерский лазарет. Как писала на фронт Силину его матушка, этой женщине, Марии Нестеровой, с ее чисто русской душевностью и отзывчивостью, только в лазарете и место.

Вот об этой женщине и думал Силин: он полагал, что сможет привезти к ней Неонилу и Александру, та на время приютит. Она же могла бы известить матушку о прибытии его семейства. У нее в доме можно было втайне от ЧК и свидеться.

Была в душе Силина еще одна боль. Семья его была эфемерной, она существовала, поскольку это допускал проницательный и беспощадный в своей вере Еварист. Силин, для которого Неонила, с ее природной мягкостью и тактом и умением понимать его со взгляда, с полуслова, воистину стала светом в окошке, лишиться ее не хотел ни по чьей злой воле — хоть Евариста, хоть чекистов.

Им всецело владело одно-единственное: укрыться от секты, укрыться от чекистов, и раз так получилось, что в кровавой усобице одолели красные — пусть. Пусть царствуют и правят, только бы не трогали его, и жену, и дитя, а он себе место в жизни сыщет.

Силин поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, мысленно перекрестился, постучал в обитую войлоком дверь.

Ставшая на пороге женщина лет тридцати пяти, в наброшенной на голову и плечи шали, увидев Николая Петровича, его армейский полупубок и звездочку на треухе, спросила с улыбкой, кого товарищ разыскивает. Выслушав ответ, сказала: — Мария Нестерова — это я, вы проходите, проходите! — Закрыв за Силиным дверь, обернулась с готовностью, с желанием услышать нечто радостное — Вас прислал Алеша? Алексей Лукич?

По ее улыбке, по просиявшим глазам Николай Петрович все понял, но мистифицировать не стал, чтобы не возникло потом лишних осложнений.

— Нет, Мария Нестеровна, я не от Ливанова, хотя он мой боевой товарищ. Я Силин...

Мария Нестеровна взглянула на него с изумлением, потом произнесла растерянно:

— Вы — сын Евгении Симоновны? Николенька? Разве вы... А я слышала... Ах, Боже мой, что же держу вас в дверях? Пойдемте в комнату...

Мария Нестеровна с готовностью уступила одну из трех своих комнат Силину и его семье. Матушку и сестру пообещала известить завтра же. Мысль, что она укроет у себя белогвардейского офицера, Марии Нестеровне и в голову не пришла. Во всяком случае, ни малейшего беспокойства или опасения она не высказала.

Она выпроводила своих ребятишек на улицу, чтобы не путались под ногами, и час спустя угловая комнатка с широким, трехстворчатым окном удивительно приятно преобразилась. Занесли двуспальную кровать с никелированными шариками, и хозяйка от доброты душевной положила на нее простыни, покрывало, атласное одеяло. Улыбнулась Неониле: — Сейчас мы с тобой, голубушка, печь подтопим, да воды накипятим, да побаним всех вас. С дороги обязательно надо, чтобы вошь не прицепилась...

Поздно вечером, после ужина, Александра, выйдя из-за стола, попросила Неонилу смиренно: «Благослови ко сну, сестрица!» — и головку склонила.

Мария Нестеровна смотрела на Неонилу и девочку во все глаза, потом, когда Александра ушла, спросила, переводя взгляд с Николая Петровича на Неонилу: — Так вы, вижу, веру не утратили? Не много нынче таких осталось, все больше безверие кругом утверждается...

Неонила покачала головой, ответила, что да, веруют — и она, и приемная дочь, веруют по истинно православному канону. И оглянувшись на Николая Петровича, и, увидев его глаза, ничего больше не добавила. Вдохнула, ушла в комнату, где теперь было ее с Николаем Петровичем временное жилье.

На другой день, ближе к вечеру, пришла Лидия, сестра Николая Петровича. Расцеловалась с братом трижды, по русскому обычаю; расцеловалась по-родственному и с Неонилой, чмокнула в лобик Александру — ах, Боже мой, что у тебя, Николенька, за чудо-жена, что за прелестный ребенок!

Николай Петрович сестры не видел с восемнадцатого года. Она и прежде была красавицей, но одно дело красивая, с прекрасными рыжими кудрями, белолицая девушка, иное же дело — во всей красе раскрывшаяся женщина...

На Лидии, когда сняла пальто с каракулевым воротником, оказалась белоснежная блуза тончайшего кредешина, с черным широким бантом, и черная длинная юбка, плотно обтягившая бедра, высокие, на каблучке, теплые ботиночки со шнуровкой... Николай Петрович смотрел удивленно — вот те на, это в совдепии так одеваются...

Разговор не сразу завязался — сумбурно все поначалу шло: «Ты здоров ли, братец родимый?» — «Отчего же, сестренка, рана давно не беспокоит... Как матушка?» — «Не можется ей, но завтра сама придет, не терпится жену твою увидеть. Надолго ли к нам? Как же решился? Для тебя не опасно?» — «Опасно, сестренка, но думаю выпутаться...» — И вдруг спросил прямо: «Ведь ты замужем?».

Лидия усмехнулась, объяснила — вот сразу и видно, новых порядков не знаешь! Теперь не принято жениться и выходить замуж, теперь «сходятся».

— Кто же этот счастливец? Это серьезно?

Это был один из очень немногих вопросов, ответить на который в двух словах Лидия не могла.

Счастливец был член коллегии Сибтифчека Александр Федорович Мудров. Этот человек, вот уже полгода пламенно влюбленный в Лидию, вместе с тем страшил ее своей неумолимой энергией. Он был огромен и по-медвежьи силен, и явно не был создан для тихой семейной идиллии. Он мотался по Сибирским губерниям, организуя борьбу с тифом. Лидия и желала «сойтись» с ним по-настоящему, то есть привести в свой дом или уйти к нему — и страшилась этого. Потому-то все эти полгода встречались они тайно, и Лидия знала — Мудрова тяготит и возмущает навязанная ему необходимость скрывать от людей их отношения.

Мария Нестеровна была на дежурстве в лазарете, дети ее чем-то тихим, неслышным занимались в отведенной им комнате, Неонила увела Александру в свою угловую — говорить можно было без помех, совсем откровенно. Лидия слушала брата со смешанным чувством жалости и сострадания. Когда же тот замолчал, Лидия подошла, запустила пальцы в его густую шевелюру, прижала к себе его голову: — Ну что же делать, Николенька? Еварист Евдокимович... Неужто могут быть такие страшные пастыри, с такой властью над людьми? Разве так веруют?.. Где же здесь добро, где милосердие, где любовь? Славная девушка тебе досталась, я же вижу — так что? Могут у тебя ее отобрать? И младенца? Да по какому праву, Господи?

Она отпустила голову брата, походила нервно по комнате.

— А я знаю, что мы сделаем! Еваристу известно, что ты поехал к нам, в Новониколаевск. А мы его и проведем!

План Лидии был прост. Она представит Николеньку Александру Федоровичу Мудрову. Представит и как брата, и как продкомиссара Ныробского уезда; объяснит, что тот не намерен возвращаться в Ныроб, хотел бы остаться с семьей в

Сибири... Где? А куда Сибтифчека сочтет нужным направить, туда и готов ехать.

— А твой Александр Федорович не потребует за услугу твоего согласия на замужество? — Николай Петрович спросил с горечью, полагая, что нравы нынешних чиновных людей немногим отличаются от нравов чинодралов минувшего времени.

Лидия тряхнула рыжими кудрями: — Нет, Николенька, ты их не знаешь. Для Мудрова величайший позор принудить женщину к сожительству, он ведь идейный революционер до мозга костей, к тому же бесребренник евангельский. Но если вскроется, не дай Бог, что никакой ты не продкомиссар, да к тому же колчаковский доброволец — он и себя не пощадит, и тебя, и меня даже.

В другой вечер Лидия привезла с собой мать.

Матюшка за эти два года как-то вся усохла, стала маленькой, то и дело виновато улыбалась, правая рука у нее заметно тряслась... Николай Петрович с великой жалостью смотрел на нее — милая ты моя, за что же Господь так к тебе не милостив?

Мать все с той же виноватой улыбкой опустила в кресло.

Мария Нестеровна, за два дня успешная сдружиться с Неониллой, вывела ее из комнаты, обняв за плечи, представила розовую от смущения молоденькую женщину:

— Вот, Евгения Симоновна, это суженая Николеньки...

Неонила с ее выразительными глазами и каштановой косой Евгении Симоновне явно понравилась. Спросила, венчаны ли они или живут, как нынче принято, гражданским браком?

Неонила прежде, чем Николай Петрович опомнился, объяснила, что на супружество ее благословил сам Ныробский епископ Еварист, а венчания по их истинно православному канону нет.

От этих слов Евгения Симоновна ожидалась, хотя и не совсем поняла, что это

за истинно православный канон, ее слово «епископ» заворожило. Помахала сухонькой рукой — а подите сюда, мои милые, я вас благословлю...

Александра однажды подступила с вопросами к Неониле: — Как же так? Старейшая Киония учила, что мироотречница не должна быть в одной келье с мироотречником-мужчиной, то есть великий грех. Отчего же сам Еварист Евдокимович тому греху потакает? И как это ты, сестрица, на такое решилась, неужто Господнего гнева не боишься?

Понимая, что именно смущает разум Александры и ее совершенно четкое представление о добре, о благодати и грехе, Неонила попыталась как можно проще объяснить девочке, что вот, мол, живут в миру Ипатий Попов с женой Евдокией, и детей у них четверо, и все веруют, как истинно православные христиане, и пристань для странников держат. Ты ведь их помнишь, мы у них в доме, в Ныробе, ждали, когда старейший Еварист Евдокимович придет нам Николая Петровича — так ли? Вот Поповы по-нашему именуются жилковые или видовые, у них есть вид на жительство от властей. Старейший и мне дозволил на год перейти в видовые. Дитя у меня будет, и год мне позволено его пестовать. А после отдам его Господу, как тебя твоя мать отдала, сама же снова стану мироотречницей, в странствие уйду.

— Да? — Александра смотрела с недоверием. — А если Николай Петрович тебя не отпустит? Я-то ему чужая, а тебя, сестрица, он без памяти любит, я еще в вагоне заметила.

— Что ж ты могла такое приметить, глупенькая? — спросила и подумала: «Больно ты шустр в двенадцать-то лет...» Добавила: — А уж с Господом мы спорить не можем, поступим, как наш закон велит.

— Ну, так благослови ко сну, сестрица.

Александр Федорович Мудров сначала удивился, узнав, что у Лидии сыскался старший брат, потом несказанно за нее обрадовался — ну как же, ну как же! Пропал без вести, еще в девятнадцатом, а теперь вдруг появился, да еще с семейством! Сам же Александр Федорович тут же и спросил: как намерен устроиться брат? Не нужна ли помощь в устройстве?

Лидия ответила, что передаст добрые слова брату и что вечер у нее нынче выдался свободный, и взглянула в мужественное лицо Александра Федоровича призывно лучистыми глазами.

Они провели вечер, как всегда, наедине, в холостяцком домике Мудрова, стоявшем весьма удобно, среди березника, сбегавшего к правому берегу Оби — до красных здесь жил кто-то из высокопоставленных офицеров польской дивизии, — и расстались в этот раз, по-настоящему переполненные нежностью друг к другу.

Лидия же, возвратясь домой, думала, что Господь к ней милостив, ибо этот человек, при всей его незыблемой революционности, способен все же быть и тонким, и тактичным, словно воспитывался не на задворках общества, а в пажеском корпусе Е. И. В. ...*

Еще через день Силин был принят без проволочек Александром Федоровичем. И когда Мудров увидел мужественную осанку, отменную фигуру полевого офицера, когда уразумел, что перед ним не просто бывший красный командир, коммисованный по ранению, но человек, два года работавший продкомиссаром на Северном Урале, только понял, что в руки его свалился клад и что человека таких достоинств, как у брата дорогой его Лидии, из рук выпускать нельзя.

Он четко и толково рассказал, сколько опасен оставшийся от гражданской вой-

* Е. И. В. — Его Императорского Величества — сокращение, общепринятое в России до революции.

ны тиф, как много жизней уносит он в городах, особенно среди недоедающих детей, как косит он ряды красноармейцев, сколь трудна борьба с этим бедствием при общей нашей антисанитарии. Сказал и о Сибирской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом, о ее неограниченных полномочиях и о скромных — по сравнению с потребностями — возможностях.

Силин слушал и не мог дожидаться, когда Мудров закончит агитационную речь и сделает конкретное предложение.

И вот Мудров наконец спросил, не хотел бы товарищ Силин уйти из системы продкома и приложить свои силы на куда более хлопотном, не сулящем никаких благ и притом куда более опасном фронте — борьбы с тифом?

Силин помедлил, на всякий случай поинтересовался, не вызовет ли такой переход возражения со стороны губпродкома? Мудров объяснил, что все эти хлопоты возьмет на себя, если Николай Петрович согласится поехать в чертову дыру под названием Щегловск и возглавить там уездную комиссию по борьбе с тифом.

Уже понимая, что Николай Петрович по каким-то своим соображениям от предложения не откажется, Мудров объяснил, что город Щегловск — это зажиточная деревня, ничего городского там пока нет. Но неподалеку на берегу реки Томи кампания «Копикуз» поставила коксохимический завод. Рабочих на заводе, пожалуй, не меньше, чем жителей в Щегловске. На другом же берегу действует угольная шахта. Уголь идет и на завод, и для железной дороги. Словом, весь этот промышленный треугольник для Советской власти настолько важен, что Сибревком притягивает за Щегловском прямую, минуя Томский губком и губисполком. К тому же в Щегловске уездный штаб ЧОН и чоновский батальон, а регулярных войск в Западной Сибири сейчас фактически нет. Стоявшая здесь 51-я дивизия Василия Блюхера еще в

двадцатом году брошена была на Каховский плацдарм, штурмовала Перекоп, обратно не вернулась...

Теперь Николай Петрович как-то подобрался — новые мысли ударили по душе: ага, значит, ЧОН — это какие-то армейские части! Блюхер! Снова этот красный генерал... Теперь придется лезть из кожи вон, чтобы солдаты и офицеры этой самой ЧОН не заболели тифом... ха! Штабс-капитан Силин в роли ангела-хранителя доблестнейших пролетарских войск... Чудны дела твои, Господи!

VIII

Николаю Петровичу Щегловск сразу пришлось по душе тишиной, степенностью, размеренным, чисто деревенским образом жизни: люди вставали с петухами, хозяйство было если не в каждом дворе, то через двор обязательно — и коров держали, и коз, покосы имели, пашни и обширные огороды.

Самым красивым местом в Щегловске был, конечно, взлобок над поймой чистой, прозрачной речки Искитимки при впадении ее в Томь.

Тут, на взлобке, красовалась тесовая, сложенная из могучих бревен Никольская церковь в две головы. Чуть поодаль, у самого уже ската к реке, приютилось тихое, тенистое кладбище, ниже его тянулась густая березовая роща.

Раздольные деревенские улицы по новым временам переименованные то в Советскую, то в Коммунистическую, разбегались от огромного луга перед деревней — на запад до Щетичкина лога, на восток до Искитимки. Вот тут, на улице Тисульской, в одном из крепких домов на два входа, хозяева приютили Силина с его семейством. И по цене сговорились быстро, и молоко обещали хоть литр в день, хоть два, и хлеб домашней выпечки...

В первые же недели Силин взял уездную комиссию по борьбе с тифом в твердые руки, чему, собственно, никто и не противился. Аристарх Матвеевич, врач, рад был, что нашелся человек, готовый снять с его плеч не свойственные ему обязанности. Всем остальным в комиссии Николай Петрович пришелся по душе тем, что, не будучи медиком, в решениях и действиях исходил из здравого смысла, в лечебные дела не совался, с Аристархом Матвеевичем готов был советоваться и самолюбия своего поперед дела не ставил.

Он, правда, не то чтобы с опаской, но с некоторой неуверенностью думал о том, как пройдет посещение казарм батальона ЧОН на Химзаводе. Мысли были разные: что за батальон? Кто командир, как примет постороннее вмешательство? Допустит ли к осмотру без специального мандата?

Колебаний и сомнений хватило Силину всего на месяц, потом пошел к уездному начальнику ЧОН товарищу Дусье — черт его знает, отчего у русского человека была такая французская фамилия, — мол, по моему реестру дошла очередь до введенного вам батальона, надобно проверить санитарную чистоту...

Дусье согласно кивнул: — А надо так надо, я не меньше твоего заинтересован, чтобы к бойцам зараза не прицепилась. Кого пошлешь? — Дусье не раз, не два видел Силина в исполнении, но все мельком, и хотя разговаривать им было вроде не о чем, оба сразу прониклись обоюдной симпатией. Дусье угадал в Силине наметанным армейским взглядом истинного служаку, человека своего, военного, и потому, во-первых, сразу тон взял дружеский, и, во-вторых, разговор на «ты», ранги их в уездном масштабе были действительно равны.

Силина такой ход дела обрадовал, откликнулся в том же товарищеском тоне: — Да никого я посылать не собираюсь, сам пойду.

— Тогда посиди у меня, я распоряжусь, чтобы санки нам заложили, вместе и съездим...

На осмотр всех рот ушел день, артиллеристов смотрели еще засветло, а на постельное белье времени не хватило. При скудном свете ламп Силин ничего осматривать не стал, да и нужды в этом не было.

Чоновцы, набранные по обычному призыву, были все как на подбор — ладные и сильные, телом чистые, без болячек и коросты; вшей или гнид ни у кого не обнаружилось.

Когда садились в санки, Дусье без всякого подвоха щолобоньствовал:

— Что же комсостав не осмотрел?

Николай Петрович хмыкнул: — Товарищи командиры пусть сами себя осматривают, еще мне не хватало их перед строем конфузить! А хлорки на отхожее место не жалейте. Если в батальоне ее мало, прикажи прислать солдат, я выделю. Кому другому, может, и пожалел бы, а твоим солдатам сыщу.

— Спасибо, Николай Петрович, — Дусье легонько тронул вожжи, и конь сразу резво вынес их за ворота. — А о военной службе, думаю, тоскуешь?

— Как на духу: тоскую. Только к строевой не годен, плечо правое у меня штыком пропорото, потому и комиссован вчистую.

— Жаль. Я бы тебя взял на начштаба, да еще с милой душой.

— И мне жаль, только что об этом толковать...

Вникнув очень быстро в суть работы, Силин развернулся — он оказался человеком упорным и энергичным, права и полномочия свои знал и помнил, ни перед кем из уездного начальства не заискивал, держался независимо. Само собой разумеется, что вскоре же он стал фигурой в уезде весьма заметной. Но

ближе всего он сошелся, как ни странно, с завполитбюро, или, в просторечии, с начальником уездной Чека Фридрихом Брокером, латышом по национальности*.

Первый разговор у них вышел вскоре после того как Силин побывал в батальоне ЧОН: Брокер лично позвонил, не через секретаря, просил зайти.

Силин в прошлые года слово это — Чека — не мог без содрогания слышать и без ненависти произносить, но теперь, вживаясь в новую свою ипостась, с товарищем Брокером должен был хотя бы ладить...

Фридрих Адамович усадил Силина в плетеное дачное кресло, бог весть как попавшее сюда, объяснил, улыбаясь, что в батальоне о силинской проверке на вшивость по сей день толкуют, теперь раз в неделю ротные командиры сами все проверяют, нательное белье по всем швам смотрят... Силин кивнул — вот и ладно, меньше риска, что тиф обнаружится, все же казарма, скученность, значит, риск... Он говорил сбивчиво, чувствовал, не ради этого чекист его позвал.

Брокер спросил, думает ли товарищ Силин ездить по уезду или его деятельность ограничивается Щегловском?

Силин пожал плечами: — Щегловском? Разумеется, весь уезд — и Кольчугинский рудник, и все села, просто еще руки не дошли. Почему товарищей чекистов это беспокоит? Или у товарища Брокера своих забот мало?

Фридрих Адамович покачал головой: — Вы, товарищ Силин, напрасно так... Я в вашу службу не лезу. Я пекусь о вашей безопасности. У вас есть личное оружие?

* Брокер Ф. А. по данным партархива Кемеровского ОК КПСС исключался из партии в 1936 г. «за приписывание себе революционных заслуг»; в том же году в партии восстановлен. 26 мая 1937 г. решением Сталинского ГК ВКП (б) исключен вторично «за причастность к троцкистскому подполью, арестован НКВД».

Силин искренне удивился: — Оружие? Но комиссия по тифу...

— Я не о комиссии, — Брокер оставался невозмутимым. Его русский язык был чист, он изъяснялся свободно, за многие годы жизни в Сибири у него даже акцент исчез. — Нет, я о вас. Значит, оружия нет. А банды по тайге есть. Как вы по таежным дорогам без оружия? — Глядя в растерянное лицо Силина, заключил: — Я договорился с товарищем Дусье. Он из своих запасов выдаст. За оружие у него распишетесь, будете нести ответственность в случае утраты. Судя по вашей выправке, стрелять умеете. В кого стрелять можно, а в кого нельзя — знаете. Вот все, ради чего я хотел с вами встретиться.

На другой день, не дожидаясь звонка от Дусье, Силин получил на оружейном складе батальона оружие. Он выбрал тяжелый кавалерийский наган, только витой шнур отцепил; при нынешнем его лешем хождении шнур был ни к чему. Ближе к вечеру ему позвонил Дусье, объяснил, что комсостав ЧОН стреляет летом в поле, осенью и зимой — в тире, по четным дням пятидневки. Добавил: — Ты тоже приезжай, сам знаешь: без тренировки глаз и рука друг от друга отвыкают.

IX

В самом начале лета по селам уезда полетели слухи, а в уисполком и уком большевиков посыпались, как по команде, заявления обиженных якобы Брокером мужиков: жаловались на незаконные аресты, на избиения, на поборы и реквизиции.

На заседании уездного исполкома, когда рассматривали все эти жалобы, Силин послушал-послушал, неожиданно для самого себя поднялся и сказал: — Я так считаю: создать комиссию, заявления проверить. Ни одному слову в этих заявлениях я лично не верю. Кому-то надо Брокера очернить. Тем более нуж-

на проверка и обязательно сообщить о результатах через уездную газету. А ты, товарищ Брокер, пока от дел отстранись. В неделю, думаю, все можно проверить.

Председатель уисполкома, сухощавый Ефим Береснев, поморщился:

— Умная у тебя голова, товарищ Силин, только дураку досталась. Брокер — номенклатура губернская? Как его проверять? У нас таких полномочий нет, надо доложить в Томск, пусть они и проверяют!

Силин возразил:

— Кто сказал, что мы проверяем работу уездной Чека? Мы с ними вообще толковать не станем. Членам исполкома надо поехать по селам и поговорить с заявителями. Если хоть одно заявление подтвердится, сыщется хоть один мешок муки, изъятый, Брокером, или сыщется невинно арестованный или избитый — вон, в одном заявлении сказано, будто нагайкой и глаз вышиб, если что подтвердится, тогда — в Томск, пусть шлют свою комиссию. А если ничего? Что же в колокола бухать, не заглянув в святцы?

Ефим Береснев выслушал без тени обиды, сказал: — Извини, Николай Петрович, твоя голова умному досталась. Я грешным делом думал, ты только во вшах разбираешься. А ты, товарищ Брокер, согласен с мнением товарища Силина?

Брокер ответил, что согласен, проверке мешать не будет...

Проверка длилась три дня, все в заявлениях было вранье: то Брокер не бывал в тех деревнях, откуда люди будто бы жаловались; то бывал, но никого не арестовывал; в Успенке бывал, но никто не видел, чтобы хлестал кого-нибудь нагайкой, тем более глаза никому не выбивал — ну, и так далее.

Результат проверки республиковали в уездной газете «Пролетарское утро» и отдельными листовками, развезли по селам — пустые слухи и сплетни разом иссякли.

Столкнувшись раз в уисполкоме с Силиным, Брокер с чувством пожал ему

руку — и ничего не сказал: оно и без слов все было понятно и тому и другому. Еще день спусти все вместе поехали на стрельбы — Силин, Дусье и Брокер...

Душа Неонила все лето искала для себя утешения и успокоения и рвалась на части. Благодать под привезенными из Ныроба медными иконами-складными была в трех ее комнатах и в кухне, словно в келье на Ильиче — здесь Антихрист был не властен. Бумаг на себя и на Александру — что жена светушке своему и что Александра ей и Николаю Петровичу приемная дочь — в руки не взяла; в них год проставлен по тому летоисчислению, которое ввел на Руси император Петр; сдвижка по нему против истинного времени от сотворения мира произошла на целых 8 лет. 8 лет Петр у Бога похитил, и Неонила посчитала, что эти документы присовокупят ее и Александру к миру Антихриста. Писаться под этот год было им нельзя.

Николай Петрович рассуждения Неонила выслушал с улыбкой, заключил — ну и ладно. Положил бумаги на полочку, пусть себе лежат, то ли еще понадобятся, то ли нет, никто не знает. А вот посмотри-ка, я денег принес, на них, правда, тоже антихристов год означен, однако все они только до базара. Возьмешь и отдашь, греха же на тебе не будет — не так ли?

В понимании Неонила опасность дьявольского прельщения подстерегала ее на каждом шагу. Какая-то разбитная бабенка на рынке заприметила Неонилу, торговала она такой уж расчудесной квашеной капустой, на клюкве, а Неониле в те месяцы все кисленького да соленького хотелось... Бабенка эта Неониле издала улыбку, на живот ее поглядывала, и все бы ничего, да скажи она однажды: «У тебя, землячка, скоро, поди, прибавление семейства?» Слово это — «землячка» — несло в себе изначальный грех, словно бы присоединяло ее все к

тому же антихристову миру, и пришлось отговариваться — нет, нет, я не землячка, я из дальних краев... И брать у бабенки капусту более не стала.

Или еще грех — не в деле, в мысли: вот подошла на том же базаре сметану или что еще сторговать, а торговка глянула таким ли сердитым взглядом... Вот так о ней подумала — и согрешила, напраслину возвела: не сердита она на тебя, не злобится, печаль у нее... Из таких вот мелких прегрешений ткались жаркие летние месяцы, потом большой грех случился: ходила из дома в дом высокая худоцавая женщина, спрашивала, у кого есть дети, которым в школу? И к Неониле поднялась, на хлопотавшую у жаркой плиты Александру уставилась — эта девочка в какой ступени прошлый год училась? Как фамилия? Кем вам доводится? Если взята в услужение, то вы препятствовать учебе не смее! — Голос у женщины резкий, недовольный, взгляд упорный.

Неонила улыбнулась: — Не в услужении, дочь приемная. — Попросила Александру: — Чадуня, подай женщине бумаги, вон на полке лежат... Грех ведь творила, антихристовыми бумагами закрывалась, а только что сделаешь? — Окружающий мир дотягивал до нее свои ручищи...

Женщина бумаги взяла, удивилась: — Так здесь живет семья товарища Силина? Вы — жена? Ну, тут вам, милая, не отвертеться, если уж товарищ Силин посмеет не послать ребенка на учебу, я весь исполком на ноги подниму!

Неонила весь день, до прихода светушки Николая Петровича, пребывала в душевном смятении: посылать Александру в антихристову школу нельзя, невозможно, и сама девочка к этой школе близко не подойдет. Однако же угроза этой женщины навредить Николаю Петровичу пустой, видимо, не была...

Вечером, за поздним ужином, Николай Петрович с удивлением выслушал рас-

сказ Неонила — такого поворота он не предвидел. Конечно, ни о какой школе не может быть и речи, это очевидно.

Неонила с сомнением покачала головой: — Не будет ли тебе из-за этого лиха? Женщина грозилась...

— Ты не переживай, я завтра же найду, кто эта женщина, и все улажу.

Женщина оказалась инспектором уездного наробраза, звали ее Клавдией Семеновной, и Силин объяснил ей, что девочку, свою приемную дочь, только-только вырвал из рук секты староверов-бегунов, в которой она жила с годовалого возраста. Голова девочки все еще забита несуразными представлениями об окружающем мире, в этих условиях посылать ее в нормальную советскую школу просто нельзя: станет объектом насмешек и издевательств, а то и, поскольку «с характером», еще и приобщи́т к своей вере двух-трех подружек...

Клавдия Семеновна слушала с удивлением — секта? В наше революционное время? Однако с доводами Силина согласилась, тем более что Николай Петрович заверил: этот год будет заниматься с девочкой сам, а уж на следующий определит в школу...

Августа в семнадцатый день Неонила родила мальчишку с рыжим (в Лидию, что ли?) хохолком на темечке, горластого и лупоглазенького. Для Николая Петровича отрадой было поносить сына на руках, ощущая ладонями живой, теплый, сбитый комочек.

О Еваристе Николай Петрович до лета думал и вспоминал с тревогой и беспокойством, но Неонила о нем молчала. Раза два Силин, правда, застал ее на коленях перед медными складнями, понял: епитимствует, от своего страшного Бога для успокоения души откупается... Закрыв тихонько дверь, уходил на кухню: чего мешать? Теперь уже полгода, как он с семьей в Щегловске, и вроде все спокойно...

В один из сентябрьских дней, когда зарядили первые осенние дожди, Силин случайно услышал, что Дусье поднял по тревоге чоновский батальон: предстоял поход в тайгу, на перехват объявившемуся колчаковскому отряду. Поразмыслив, Силин повесил на широкий поясной ремень кобуру с наганом, позвонил в штаб ЧОН, спросил, на месте ли товарищ Дусье.

Тот взял трубку: — Слушаю тебя, Николай Петрович. — По голосу Дусье Силин понял, тот звонка не ждал, времени на разговор не по делу у него нет. Однако отступаться от принятого решения не думал:

— Если явлюсь через десять минут, застану?

— Если в десять минут успеешь, застанешь. — И положил трубку.

Силин добежал быстрее, минут за семь — Дусье поднял от карты хмурое, озабоченное лицо, стоявшие вокруг стола командиры молча, недоумевающе смотрели на Николая Петровича.

Силин, понимая, что может наткнуться на отказ, сказал: — У меня три телеги, возчики. Пойдем с батальоном. Там будут раненные, в банде, не исключено, — могут быть тифозные, это все по моей части.

Дусье кивнул: — Не возражаю. У тебя верховой-то конь есть? Или с возчиками, на телеге?

— Есть верховой, на телеги солдат посадим.

Отряд был вот какой — почти сплошь офицерский, до двух сотен, две роты пехоты, казачий эскадрон, пробивался из Енисейской тайги на Алтай, чтобы оттуда уйти в Урянхайский край, за кордон. Был в отряде и свой лазарет, и обоз с офицерскими семьями... Командовал подполковник Олсуфьев, притом командовал грамотно. Слабые чоновские заслоны на границе Томской губернии перебил, от высланных из Томска коммуни-

стического батальона и школы краскомов ускользнул таежной тропой, ибо сражаться с ними не мог ввиду явного неравенства сил. На тропу его вывел кто-то из местных, и теперь отряд Олсуфьева шел с севера на Вознесенку, а за ним — в одном переходе — гнались томские чоновцы.

Дусье вывел свой батальон к Вознесенке с юга, окопов рыть не велел, уложил бойцов на сырой, дождем пропитанный откос, перегородив дорогу; станковые пулеметы поставил на флангах, в тайгу выслал верховых. Одной роте приказано было выдвинуться вперед, затаиться у дороги, отряд пропустить, а когда начнется бой, ударить с тыла.

Над землей стался редкий туман, промозглая сырость принимала до костей. Силин зябко поежился, стал растерять левой рукой занывшее нестерпимое плечо — черт, не ко времени... Спросил Дусье: — Уверен, что Олсуфьев тебя не обойдет?

— Ему деваться некуда, один тут путь — на нас. Если силой не пробьется, побежит назад, к Мариинску, навстречу томичам. Однако думаю, мы их здесь кончим...

Еще час спустя конная разведка выскочила из тайги: идут! Кавалерия впереди, за ними телеги, пехота замыкает.

Силин, зная, что в любом случае стрелять не будет, отъехал от Дусье: тому придется командовать боем. Николай Петрович ясно увидел, что сейчас произойдет на широкой сырой поляне, и ему стало больно за тех русских людей, которые не смогли переступить через себя и через свою веру, не приняли красной власти и которых сейчас ждет смерть. Зачем же поехал он сюда, чего ради увязался за Дусье и его батальоном? Николай Петрович знал это точно: помочь после боя тем, кому надо будет помочь; спасти тех, кого можно будет спасти...

Из тайги неспешно выехали всадники — сидели в седлах нахохлившись под сно-

ва заморосившим мелким дождем. Было их семеро, казацкие кони трусили мелко по расхлюпанной глинистой дороге. Не то разведку выслал Олсуфьев, не то передовое охранение. Ехали спокойно, ничего не опасаясь — видимо, Олсуфьева не успели или не сумели предупредить, что к Вознесенке выпел батальон ЧОН.

Дусье выехал на дорогу, снял кожаную фуражку, подставил лицо холодным мелким каплям. Казаков фигура одинокого всадника в черной тужурке с ремнями крест-накрест, видимо, озадачила — они остановились шагах в тридцати, потом один, сняв с плеча карабин, тронул коня, медленно двинулся вперед...

Дусье поднял руку, крикнул: «Командую до трех! Кто не спешится...»

Ехавший к нему вскинул карабин, однако выстрелить не успел: из густой травы щелкнул выстрел, и тот, не выпуская карабина, стал заваливаться вправо... Остальным уйти тоже не дали, расстреляли всех, очень уж кучно они стояли.

Олсуфьева — он ехал верхом впереди роты — эта короткая стычка хотя и насторожила, но всерьез не встревожила: полагал, что охранение натолкнулось на большевистский отряд деревенской самообороны. На всякий случай все же приказал лазарету и обозу пропустить пехоту вперед, для охраны оставил при телегах два взвода. Казачий эскадрон как шел в сомкнутом строю, так колонной и вытянулся из тайги на широкую поляну — не разворачивать же его в лаву из-за десятка деревенских коммунистов с их пугачами... Удивило, правда, что из разведки никто не прискакал, не доложил, и Олсуфьев на краю поляны эскадрон придержал. Всмотрев вдалеке одинокого всадника в черной тужурке, повел биноклем по дальнему краю поляны, по прежнему уходившего к реке обрыва и понял, что перед ним какая-то воинская часть, скорее всего чоновцы, только сил их определить не мог... Взвод? Он раздавит взвод, размахнет, как муху по стене...

Рота? Придется повозиться, но и рота не страшна, лишь бы не было у них пулеметов. Батальон? О батальоне лучше не думать... Уклониться от боя теперь нельзя, надо прорываться и уходить: за спиной томские чоновцы.

Олсуфьев двинул вперед роту — люди рассыпались в двойную цепь, пошли короткими перебежками к тому месту, где разметались убитые казаки и жалобно ржала, вытянув шею, казацкая лошадь с перебитыми передними ногами — она все пыталась подняться и снова валилась, вскидывая высоко задние ноги...

Дусье, выждав, пока цепи отрядников подойдут поближе, надсадно закричал: — Я начальник войск ЧОН уезда! По счету «три» оружие бросить! Ра-а-аз!... — Он снова поднял руку.

Люди в передней цепи на секунду приостановились: они вдруг увидели в зашевелившейся траве буденовки, их было много, не меньше трех сотен, и увидели поднятые винтовки, и щитки станковых пулеметов... Мгновенно сработала боевая выучка: не дожидаясь залпа, бросились на землю, залегла мгновенно и вторая цепь... Олсуфьев все видел от кромки тайги и все понял: он попался! Его перехитрили большевики! Однако, однако... У них пехота, кавалерия не видно — и Олсуфьев сделал то единственное, что можно было в этих условиях: бросить на красных казачий эскадрон, пробить клинками, как тараном, красные позиции, за эскадром пойдет пехота и обоз; если же конная атака будет отражена — прикрыться эскадром, свою роту отвести и закрепиться в тайге; эскадрон от красной пехоты легко оторвется, пешие конных не преследуют... В тайге выждать до ночи, во тьме ускользнуть...

Дусье увидел, как цепи отрядников стали поспешно стягиваться вправо, сжиматься, и понял: сейчас Олсуфьев развернет эскадрон и бросит вперед... И тут же казаки пустили своих коней вскачь — сразу с места, здесь разгоняться было негде... И он опять поднял руку, выждал

секунду-другую, глядя, как разворачивается полумесяцем лава, грозя все опрокинуть и растоптать — и опустил резко.

Враз застучали четыре станкача, хлестали свинцовыми струями с флангов, опрокинули передних козников, достали и задних — грохнули один за другим три сухих залпа — казаки заметались, вопль, и стон, и ржание разнеслись над поляной...

Потом пулеметы смолкли — поднялись из травы роты чоновцев; солдаты в сырых, перемазанных глиной шинелях, уставив перед собой штыки, пошли вперед, охватывая поляну широким полукругом... Вскоре же поднялась пальба в тайге, совсем близко: та рота, что ушла еще прежде в засаду, дождалась нужной минуты и ударила с тыла...

Силин подскочил к Дусье, крикнул:

— Считаешь, дело сделано?

Дусье, крутясь на месте, едва сдерживая пляшущего от возбуждения коня, бросил резко:

— Нет, не сделано! Видишь же, Олсуфьев пехоту уводит!

Именно в этот миг Силин сообразил, что там, в тайге, чоновцы навалились на лазарет и обоз, — и бросился туда.

...На таежной дороге кипела жестокая и свирепая свалка.

У трех телег с обезумевшими от ужаса женщинами и детьми струдилось до полусотни пеших отрядников Олсуфьева. На них, действуя штыками, яростно наседали чоновцы, их было много больше, целая рота; отрядники ожесточенно отбивались, пытались не допустить чоновцев до телег — над побоищем стояли лязг штыков, стон, и плач, и хрип, и мат... Силин вдруг увидел комроты-один Саушкина — верхом на коне, держа перед собой почему-то черную на конце палку, он пытался дотянуться до высокого седого человека в офицерском кителе, но тот четко и умело успевал отбить штыком удар... У Силина мелькнула мысль: не стреляют ни те, ни другие... Как по

уговору... Чтобы детишек не задеть, что ли...

Силин поднял коня на дыбы, врезался в свалку — наган так и остался в кобуре; голос его громом полетел:

— Саушкин! Останови резню! Наша взяла! Женщин и детей не тронь! — Он бешено крутился на коне, прорываясь сквозь плотное кольцо чоновцев вплотную к телегам — конь кого-то опрокинул широкой грудью, кого-то ударил копытом — своего? Чужого? Кто тут Силину свой? Кто чужой? Занесло тебя, Никола, как раз между взаимной ненавистью...

Саушкин, держа саблю перед собой, не сводя холодного взгляда с седого высокого офицера, закричал вдруг, срывая голос:

— Чо-о-он! Слушай команду! Винтовки к но-о-ге! Отступить на три шага!

Силин к нему пробился — в грудь хрипящего силинского коня уперлись штыки немногих уцелевших олсуфьевских отрядников. Силин бросил поводья, привстал на стременах:

— Господа офицеры! Женщин, детей, раненых беру на свое попечение! Раненым окажу помощь на месте! Женщинам и детям гарантирую полную безопасность! Я полномочный комиссар по борьбе с тифом! Будет проявлено милосердие...

Вокруг телег, вокруг прижавшихся к ним спящими отрядников образовалась пустота. Чоновцы с налитыми ненавистью глазами, отступив на два-три шага, тяжело дышали. На земле лежали хрипящие, штыками проколотые, захлебнувшиеся кровью люди, из тех и этих...

Саушкин, будто бой кончился, вытер клинок о гриву жеребчика, бросил в ножны, произнес в тишине:

— Этому человеку можете довериться, ЧОН в его действия не вмешивается. — Обернулся к Силину: — Давай, увози женщин и детишек подальше отсюда... Ррро-о-та! Расступись! Дай проход! Господам офицерам предлагаю сдать, ни-

чего не гарантирую, кроме Томского губ-трибунала. Минута всем на размышле-ние. Кто сдаваться не пожелает, тех рас-стреляем на месте!

Силин, понимая, что большего сделать не сможет, выехал к передней подводе, крикнул возчику в зеленой английской шинели:

— Трогай!

На телеге поднялась укутанная плат-ком женщина, стала на колени, закрича-ла:

— Мишенька, где же ты?

Седой высокий офицер откликнулся:

— Полинька, я живой, прощай пока! Останусь жив, найду тебя, Катеньку бе-реги!

Телега покатила, за ней остальные, а над тасежной просекой все несло: «Ми-и-шенька, сердце мое! Ми-и-шенька!» Силин навсегда запомнил и этот пере-полненный отчаянием крик и налившие-ся страхом глаза офицерских жен и де-тишек при виде его — бородатого, ог-ромного роста «большевистского комис-сара»...

Часть отряда Олсуфьева укрылась в буреломе, левее тасежной дороги. Силин, слушая доносившуюся оттуда редкую паль-бу, к месту схватки не спешил, занят был иным делом: на пригнанные им из Щегловска телеги чоновцы сносили, ве-ли под руки своих раненых, убитых.

Для погибших олсуфьевских отрядни-ков пленные понуро рыли братскую мо-гилу, над которой — Силин знал — не поставят ни креста, ни иного знака, и некуда будет офицерским женам прийти помолиться, омыть горе слезами...

Подскакал вестовой, выкрикнул:

— Товарищ Силин! Вас требует к се-бе товарищ Дусье!

Подъехавшему Силину Дусье устало объяснил:

— Мы их обложили, как волков, там человек до ста засело. Не хочу своих ре-бят губить, а у тебя, говорят, на дороге удачно получилось. Попробуй и этих;

чтобы сдались. Гарантирую, кто сдастся — не расстреляю.

Силин понимающе кивнул, подумал — вот и еще одно испытание... Помогите, Гос-поди, и сохрани. Какие слова для них сыскать... Большевикскому комиссару нет у них веры, а мне?..

Он достал белый платок, выехал на открытое место, махнул им, закричал в напряженной тишине:

— Эй, Олсуфьев! Не стреляй! Я штабс-капитан Силин, в германскую командо-вал ротой в сто семнадцатом полку ди-визии Сиверса-младшего!.. Эй, там, слыш-но ли меня?

Ответом было тяжкое молчание, но Си-лин знал, что слова его слушают с на-пряженным вниманием.

— Эй, там! Я ваш лазарет и ваши се-мьи взял на свое попечительство как пол-номочный комиссар по борьбе с тифом! В случае сдачи вам гарантируем, рас-стрела не будет! На размышление ми-нута!

Из занавешенной пологом дождя ча-щобы прянули выстрелы, фуражку с го-ловы Силина снесло. Он пригнулся к приве, отскакал в сторону, к мрачным черным соснам. Дусье спросил: — Цел? Не задело?

— Цел, заговоренный я.

— Ну, тогда будем их кончать. — Он крикнул кому-то из стоявших рядом ко-мандиров: «Давай!» — и четыре выкачен-ных вперед станковых пулемета ударили по спутанному, перековерканному бурело-му...

X

В Щегловск вернулись на другой день к обеду, пригнали под конвоем 49 че-ловек, на телегах привезли 17 раненых — все, что осталось от отряда подполковни-ка Олсуфьева. Самого подполковника с пулей в сердце — застрелился, сдаваться не захотел, на снисхождение ревтрибуна-ла не надеялся — уложили в братскую могилу вместе с прочими побитыми от-рядниками.

Силин сразу, как прибыли, потребовал у Дусье, чтобы всех из отряда — кто цел и кто ранен, женщин и детей — отдали ему, проверить, нет ли тифозных, истребить инфекцию. Дусье махнул рукой — давай, командуй дальше сам, Саушкина с ротой даю для помощи и охраны.

Николай Петрович оставил пленных и раненых под доглядом Саушкина, перво-наперво взялся за женщин и детей: по его приказу всех их остригли наголо, и побанили, и накормили; трем хворым женщинам и одному, позже, правда, умершему мальчишке лет двенадцати высклали место в тифозном лазарете.

Аристарх Матвеевич зашел в комнату Силина женщину с красным после жаркой бани лицом, в руку ее намертво вцепилась девочка лет семи. Голова женщины покрыта была широким белым платком, уголки связаны под подбородком, и Николай Петрович не сразу признал в ней ту самую Полину, что отчаянно звала своего ненаглядного Мишеньку.

Аристарх Матвеевич представил — Полина Изосимовна Рытова, в Германскую войну работала палатной сестрой в полевом лазарете в Витебске...

Силин спросил сурово, хотя ход мыслей Аристарха Матвеевича был ему ясен от начала до конца: — Чего ради привели ко мне гражданку Рытову? — Выслушав ответ, именно тот, которого ожидал — мол, хотелось бы взять ее в комиссию, она работать с тифозными и вообще с больными берется, Силин с сомнением качнул головой, снял трубку, попросил соединить его с Брокером. И когда тот откликнулся, сказал:

— Фредо, послушай... Среди тех женщин, что я привез, оказалась одна... Да, да, из отряда Олсуфьева... Она медсестра... Точно, хочу взять в комиссию. Или в городской тифозный лазарет, там будет видно... Муж? Пока не знаю... Хорошо, так и сделаю.

Он положил трубку, велел Аристарху Матвеевичу начать осмотр пленных. По-

сле его ухода указал женщине на стул.

— Садитесь, разговор будет недолгий и, надеюсь, с добрым концом. Уездная Чека желает знать, кто ваш муж, где и кем служил, где вы с ним обретались с декабря девятнадцатого года и по сей день. Вы очень все облегчите, если будете предельно откровенны. Даже если ваш муж занимался усмирением... Вы и дочка за него не в ответе, но сокрытие...

Женщина склонила голову, отерла слезы.

— Нет, нет, он полевой офицер, не каратель... После ранения под Уфой попал на лечение в Томск. Командующий корпусом, Анатолий Николаевич Пенелаяев, из Томска не отпустил, поручил командовать батальоном своих ударников...

...И ничего в душе Силина не дрогнуло и не отозвалось — январскую трагедию девятнадцатого года он в себе похоронил. Значит, после того боя под Дворецким их так мало осталось, что полк свели в батальон и с линии фронта убрали... Значит, муж этой женщины — последний командир пенелаяевских ударников... Каков же он? В девятнадцатом, в январе, их батальоном командовал барон фон Корф...

Женщина, прижав к себе дочь, всхлинула, подняла на Николая Петровича глаза — в них читалась затаенная надежда...

Силин положил перед женщиной лист серой шершавой бумаги в осьмушку.

— Напишите об этом кратко, просите взять вас на работу в госпиталь. Есть ли еще среди женщин такие, что готовы работать у нас?.. Теперь я займусь своим делом, вернусь через час...

За этот час Аристарх Матвеевич и его люди закончили осмотр олсуфьевских отрядников, тифозных среди них — на удивление! — не оказалось. Обходя строй молчаливых, замкнувшихся в себе пленных, Силин спрашивал каждого:

— Чин? Фамилия? Место службы до декабря девятнадцатого? — Шагавший следом медбрат записывал ответы, и Си-

лин подчеркнуто четко, чтобы всем было слышно, приказывал: — Пометь! У этого тифозной инфекции не обнаружено!

Так он дошел до высокого голубоглазого человека с седой головой, узнал его... Человек этот о себе объявил — подполковник Рытов Михаил Павлович, командир отдельного батальона в Сибирском корпусе генерала Пепеляева.

Силин и глазом не моргнул, спросил сдержанно: — Верно ли, что жена господина Рытова работала в полевом лазарете на Западном фронте?

Подполковник смотрел пристально в лицо Силина, стараясь понять, что кроется за этим вопросом. Наконец некое подобие улыбки проступило на его заросшем рыжеватой щетиной лице. Он, видимо, сообразил, что вопрос задан неспроста, что жизнь его Полины и дочурки может устроиться, вздохнул:

— Была палатной сестрой, только все документы бросили в Томске при постыдном отсуждении...

Николай Петрович бросил медбрата через плечо: «Инфекции не обнаружено!» — и шагнул дальше, к следующему. Подполковник Рытов смотрел ему вслед с тайной надеждой...

Список пленных Силин подписал, комнаты-один Саушкин тут же всех построил, раненых усадили на телеги, двинулись под конвоем чоновцев на Химзавод, в казарму, где предстояло всем провести ночь, а на другое утро Дусье должен был погнать пленных в Томск.

Большого, чем сделал в этот день для олсуфьевцев Николай Петрович, никто бы сделать не мог. Уже то было для них благо, что их всех в тайге, сразу после боя, не расстреляли — такой приказ был по войскам ЧОН Томской губернии: бандитов, взятых с оружием в руках, расстреливать на месте без всякого суда. Бандитами же считались все, не признавшие Советскую власть...

В комнатухе ждали женщина и девочка-беляночка. Силин, принимая у Рытовой густо исписанный листок, буркнул:

— Сейчас с вашим мужем разговаривал. Завтра их повезут в Томск. Думаю, он правильно сделал, что сдался: есть шанс, что останется в живых.

Женщина повалилась грудью на столик, плечи у нее затряслись, девочка заплакала в голос: «Маменька, что же вы? Зачем же вы, маменька!»

Силин дал женщине выплакаться, потом сказал решительно:

— Все, больше на слезы времени нет. Пойдите к Аристарху Матвеевичу, он знает, куда вас поставить.

Женщина улыбнулась через силу:

— Простите великодушно, я не плакса, поверьте, и крови не боюсь. — Сняла сбившийся белый платок — голова у нее была острижена, ушки, словно у девочки, маленькие, розовые. Она совсем успокоилась: — Не знаю, право, какому Богу молиться... Прислал вас Господь для нашего спасения, перебили бы всех нас в тайге ваши солдаты... Сколь же они злы... Была бы здесь церковь, или хоть часовня при дороге, поставила бы свечу.

Николай Петрович, в душе усмехаясь сам себе, двусмысленности своего положения, объяснил: в Щегловске храм имеется, Знаменский, в честь Знамения пресвятыя Богородицы. Деревянный, правда, но иконостас знатный, резной и в позолоте, и иконы все, какие по канону положены. Службы идут, поскольку запрета власти не чинят, а свечу Полина Изосимовна может поставить, хоть бы и пудовую, если сыщет денег на пуд воску... Добавил: — Ну, идите, милая, идите к Аристарху Матвеевичу...

Уже в дверях Полина Изосимовна задержалась.

— Я вас там, в лесу, на коне увидала ... у вас лицо свирепое, право... Я с белым светом простилась, вот, думаю, по

наши души большевистский комиссар прилетел... Вы уж простите...

К самому вечеру Николай Петрович, безмерно усталый, опустошенный, пришел наконец домой.

Неонила пеленала Петюшку — при виде Николая Петровича позвала тихонько: «Александра, поди к колыбельке, перейми у меня младенца!» Отдав сына девочке, порывисто кинулась к Николаю Петровичу, обняла, прижалась.

— Знаю, знаю, ты еще днем воротился, на базаре сказывали, будто бы и в побоище кидался... Мы с Александрой перед образами на коленях стояли, Господа за тебя молили... Господь мне дал через тебя радость земной жизни познать — могу ли сейчас тебя лишиться?

Николай Петрович слушал этот горячий торопливый шепот, прижимал к себе бережно свою единственную, свою кареглазую, невенчанную свою жену...

Неонила уснула сразу, едва Николай Петрович к ней прилег, едва ощутила рядом его теплое, сильное тело. Верно, переволновалась за эти сутки, перенервничала... Не хватало только, чтобы из-за страхов и переживаний пропало у нее молоко... Он вдруг вновь увидел себя на той поляне, между кромкой тайги и Вознесенкой, где сдавшиеся офицеры копали братскую могилу...

По мокрой, истоптанной поляне, по таежной чащобе мужики, перекликаясь, ловили, стогнали в табун казачьих коней — Дусье пообещал, что до особого распоряжения всех собранных коней оставит в деревне, и мужики старались... Еще Силин вспомнил, как офицеры бросали на глинистую, дождем омытую дорогу винтовки, подсумки с патронами... Увидел себя в седле, с брошенными поводьями — штыки уперлись в грудь коня. А кто мешал кому-нибудь из разъяренных боем офицеров всадить свой штык ему в живот? И задним числом пережил опасность, и прошел по спине холодок... Подполковник Рытов... Это он крикнул: «Мы должны сдаться, господа, их слыш-

ком много, мы разбиты...» — и первым бросил оружие... А если трибунал найдется, что этот Рытов вешал по селам коммунистов и сельсоветчиков? Уж в таком случае расстрела ему не миновать: никаких законов сейчас нет, царские отменили, новых еще не приняли, приговоры основаны на личном убеждении судей...

Он вздохнул тихонько, боясь потревожить Неонилу... Жестокость одних порождает жестокость других, доискаться, на ком изначальная вина, было сейчас бессмысленно — история одна и рассудит...

...Проснувшись среди ночи от тревожного толчка в сердце, Николай Петрович увидел Неонилу на коленях перед складнем, со свечой в руке. Сел в кровати, опустив на домотканый коврик босые ноги. Неонила обернулась, посетовала печально: — Господа молила, чтобы счастьем нашему срок продлил, чтобы пнень Евариста Евдокимовича от нас отвратил... Не знаю, воцелит ли моей мольбе...

В конце сентября Силина снова позвал Брокер, поинтересовался, как устроились в Щегловске его, Силина, поначением офицерские жены? Выслушав, попросил, словно речь шла о чисто товарищеской услуге: — Ты бы представил мне пофамильный перечень: кто из женщин пошел учительствовать, кто пристроился на канцелярскую работу в совучреждения, кто сыскал себе место на Химзаводе или Кемруднике.

Силин нахмурился.

— Зачем тебе такой список, Фредо? Почему именно я?

Почти сразу после знаменитой августовской «проверки» они как-то легко перешли на «ты», но предложение Брокера задело Николая Петровича, показалось унижительным доносительством.

Брокер пожал плечами: — Не волнуйся, право. Вот лучше почитай, — он протянул Силину плотно сшитые листки. Это

был приговор Томского Губернского Ревтрибунала по делу участников банды Олсуфьева. Читать весь длинный приговор, со всеми подробностями расправ с пленными чоновцами, поджогов и ограблений по селам Мариинского уезда Силин не стал. Пробежал текст, выискивая лишь одну фамилию — Рытова. Нашел его под семнадцатым номером: «...17. Рытов Михаил Павлович, 43 л., из дворян, бывший подполковник, бывший командир пепеляевского ударного батальона, в августе 1920 года добровольно вступил в банду подполковника Олсуфьева... В составе банды прошел рейдом по селам Мариинского уезда, где совершены были преступления, указанные выше, в чем и признан виновным... Трибунал приговорил: ...Рытова Михаила Павловича подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу. Приняв во внимание, что лично сам Рытов М. П. людей не расстреливал и не вешал, а действовал в качестве рядового как чисто военная сила, признать его действовавшим без разумения совершаемого им преступного деяния, потому высшую меру наказания — расстрел — заменить заключением в домпринраб* сроком на пять лет...»

Силин положил спитые листки на стол, помолчал. Зыбкие все же границы между жизнью и смертью... Одно дело — расстрел, другое — лагерь на пять лет... Жена и дочь дождутся его, и все бедствия их, есть надежда, кончатся... Сказал:

— Мне бы надо всем женам объявить, каков приговор.

— Объяви, отчего же, но список мне все же дай... Мне этих женщин без оперативного внимания оставлять негоже. Сами-то они, скорее всего, для Советской власти не опасны, но возможны попытки их вовлечения, поверь, я эту публику знаю. Говорю с тобой предельно откровенно. Когда сделаешь список?

* Домпринраб — Дом принудительных работ, место заключения.

XI

С некоторых пор Силина стало грызть беспокойство: в какой-то из первых морозных дней показалось ему, будто мелькнуло на рынке костлявое лицо старшей Кионии в черном суконном платке. Мелькнуло и спряталось за чужими спинами... Силин кинулся к тому месту, но пока расталкивал людей, обегал ряды, женщина в черном платке исчезла. И заняла душа: время подходит! Еварист вот-вот разыщет, о себе напомним!

Силин твердо знал: сам он своей волей Неонилу и сына не отдаст. Да и Александр бы не отпустил, хотя на девочку у него, прав никаких. Но что решит Неонила — этого он предвидеть не мог, заговаривать с ней о возвращении ее в скит просто боялся. Она же была тиха, нежна, заботлива, сыночка любила бесконечно, кормила его грудью, и купала, и целенала, и баюкала самозабвенно... В какое-то время Силин стал думать, что Еварист их не сыщет, до них не доберется. И все же — куда бы служебная поездка его ни заносила, к ночи стремился быть дома. При мысли, что в его отсутствие ночью из дома заберут Неонилу и Петюшку, сердце у него схватывалось болью.

Не после боя под Вознесенкой, где он точно знал: стрелять в затравленных чоновским батальоном людей не будет, а именно сейчас Силин ощутил потребность разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах: кто он теперь? Что и зачем творит? О чем печется и о чем печалится?

Год назад, садясь в вагон с мандатом Ныробского продкомиссара в кармане, Силин и в мыслях не держал — служить новой власти. Он лишь личину на себя натянул, прикинулся, и хотя выглядел для окружающих вполне заправским комиссаром, в душе создавал, что и бумага у него чужая, и полусубок чужой, и звездочку нацепил только ради декорации, и был он самозванцем — не более.

Но в этот год здесь, в захолустном

Щегловске, он поосмотрелся, пообтерся. «Правду» большевистскую и «Советскую Сибирь» прочитывал внимательнейшим образом, от гневных передовиц и редакторских статей Бухарина в Москве и Тумаркина в Новониколаевске до списков «вычищенных» из РКП за пьянство, распутство, картежную игру, веру в Господа и иные отступления от большевистской морали. Впервые прочитав такое, Силин в душе поразился: выходит, и у них есть своя мораль?

На ком лежит вина в том, что в кровопролитной усобной войне осилили большевики? Почему так получилось? Пусть разбираются в этом историки. Но то, что делает он, бывший штабс-капитан Силин, так же объективно на пользу русским людям, страдающим от последствий разрухи, неустроенности, болезней... Кто посмеет упрекнуть его в том, что он ревностно служит делу, которое ему поручено? Что же из того, что поручено большевиками? Он не ради большевистской власти старается — ради людей, которым его служба нужна... Выходит, натянутая им на себя шкура теперь срослась с ним...

Вот в таком состоянии духа и застал его визит прибывшего в Щегловск из Томска невысокого сухоощавого человека в пенсне, с седыми усами щеточкой.

Он представился Красницким Иваном Мефодьевичем из губернской тифчека, просмотрел отчетность Силина за минувший месяц — остальные, сказал, нами получены. Но Силин все время ощущал какое-то беспокойство, казалось ему — не поехал бы этот немолодой уже человек из Томска в Щегловск ради таких пустяков, что-то тут не так... И правда, — человек, назвавшийся Красницким, без всякого перехода спросил:

— А что, Николай Петрович, вы ведь новониколаевский, не правда ли?

Силин на секунду опешил, потом осторожно поинтересовался, отчего вдруг такой вопрос и с какой стороны он касается работы его комиссии?

Красницкий понимающе, даже сочувственно как-то улыбнулся:

— Пока никак не касается. Но если тот же Брокер дознается, что это вы арестовали в мае восемнадцатого года товарища Шампина — тогда что?

Силин изучающе поглядел в лицо визитера, полюбопытствовал:

— А точно ли, что вы — Красницкий? Не блефуете? — Горько усмехнулся: — Был на мне грех, я брал Шампина ночью на квартире. Только не понимаю, как вам-то об этом стало известно? Или вы тоже состояли в заговоре? Но та моя вина осталась на поле смерти под Дворецким, а после воскресения я перед новой властью чист. Так что же вы от меня хотите?

— Пока — ничего. Просто удостовериться, вы ли это...

— Ага, пока — ничего. А завтра? Снова подполье? Конспиративные встречи, нелегальная переписка, пересылка оружия... Только вот незадача: нет ныне в Сибири Чехословацкого корпуса... На кого же теперь обопремся? Да и вы доверия не внушаете... А Брокер... что же, давайте сразу все и выясним. Вы ведь офицер, не так ли? Проверим вашу храбрость... — он снял трубку, попросил: — «Соедините с Брокером...»

Красницкий медленно поднялся, его светло-голубые глаза сквозь пенсне смотрели пронзительно, он сделал едва уловимое движение плечом, и Силин снова усмехнулся:

— Э, бросьте, здесь стрелять нельзя, люди сбегутся... А что вы так перетрусили?

В трубке щелкнуло, Брокер откликнулся: «Слушаю!» Силин, холодно улыбаясь в лицо замершему Красницкому, произнес весело:

— Фредо, в тир едем? Когда? В санях? Ты заезжай за мной, я верхом не хочу, коленки мерзнут, а в моих санях врач Аристарх Матвеевич укатил... Позвони, как соберешься! — И положил трубку. — Вот так, господин Красницкий, или как

вас там еще. Доискиваться, откуда, из какой щели вы вылезли, не стану. Отпускаю вас потому только, что связан понятием офицерской чести. Если же вы или кто иной подойдет ко мне еще раз с такими разговорами — сдам чекистам, а скорее всего, сам пристрелю, как собаку. Как говорится, пользуясь правами комиссара и руководствуясь революционной целесообразностью. — Он резко встал. — А теперь вон!

Летом, уже ближе к осени, Еварист Евдокимович получил письмо от Неонилы. Неонила, то и дело поминая Божеское милосердие, просила за ней старейшую Кионию пока не присылать, а перевести бы ее и Николая Петровича в жилые. Она же готова тайно держать пристань, и кормить, и призывать странников. Деньги братству отдавать будет по мере возможности, а как минет ребеночку пять лет, сама с ним приедет и с Александрой...

Читая, Еварист Евдокимович прикидывал, как вернее поступить. В конце концов Господь вечен, благодать его бесконечная. Что для Господа пять лет человеческой жизни? Но все испортила последняя, горестная фраза, выбежавшая из-под пера Неонилы: «Батюшка Еварист Евдокимович, каждое утро, просыпаясь, имя твое поминаю со страхом и надеждой. Яви ты ангельскую милость, не отрывай ты меня от Николая Петровича!»

Еварист Евдокимович яснее ясного осознал, что не Господь водил рукой Неонилы: искушая господина офицера, сама искусилась, и мирская, плотская любовь в ней бушует, и от страха потерять эту любовь трепещет душа у мироотречницы Неонилы. А как же Бог? А спасение души, которое только тем дается, кто от мира отрекся и от всех родственников своих?

Но он понял и другое: не в его власти решать теперь судьбу Неонилы и ее младенца. За два дня написал письмо пре-

имущему старейшему Арсению в далекий Данилов.

Ответ пришел вскоре — короткий и ясный: «Греховную связь немедленно пресечь, мироотречницу вернуть в братство и наложить епитимью пятитысячную за непослушание и своеволие, младенца отдать в семью жилой кормящей матери по твоему усмотрению и там вырастить в любви к Господу. Твою же, Еварист Евдокимович, вину в попустительстве лободейному греху обсудим на соборе старейших наших стран по весне следующего года, и я буду молить старейших о твоём прощении, чтобы от страны не отлучали. Пребуди со Господом и милостью его. Арсений».

Еварист Евдокимович день провел на коленях, молился, потом снарядил в Щегловск Кионию со строгим наказом: Неонилу, невзирая ни на что, доставить с младенцем в Ныроб. С офицером никаких разговоров не вести, но ежели пожелает сопровождать Неонилу до Ныроба, то не препятствовать. В том, что Неонила не посмеет ослушаться его приказа, не сомневался.

В тот раз, на базаре, Силин действительно видел старейшую Кионию, так что встревожился он не напрасно.

Киония к тому времени все уже выведала — и то, что у Неонилы родился мальчик, и что нарекли его Петюшкой, и что муж Неонилы, Николай Петрович, при власти последнего Антихриста преуспел, состоит в начальстве и даже при оружии; что бывает с краткосрочных отлучках; что живут они с женой душа в душу, будто тихий ангел над их домом воспарил; и что Александра — при них, девочка тихая и незлобивая. Словом, все то вызнала старейшая Киония, но встречаться с Неонилой не торопилась.

Перво-наперво сыскала она себе пристанище в тихой избушке недалеко от Щетинкина лога, на самой окраине. Было теперь у нее место, где можно будет ук-

рыть Неонилу с младенцем, если сразу увезти их не удастся. Потом познакомилась с божьей старушкой, сиделкой при лазарете, чтобы в точности знать, когда уедет господин офицер и сколько дней его не будет. И, раскинув таким образом свою паутину, келейная старейшая Киония терпеливо стала дожидаться своего часа.

XII

Еще в марте двадцать первого года Десятый съезд партии большевиков принял по настоянию Ленина (и при молчаливом согласии Троцкого, который по этому вопросу на съезде не выступал) новую экономическую программу, НЭП, отменил продразверстку, против которой столько было прямых вооруженных выступлений в деревне, и заменил ее продналогом.

Продотряды, переформированные в проддружины, перестали выметать у мужика все до крошки, и с осени двадцать первого стали в Щегловске по воскресеньям собираться базары, удивившие Силина изобилием: молоко в кринках и мороженое, гуся живые и потрошенные, яйца, капуста квашеная да всякого посола, клюква, грибы сушеные на низках, орехи кедровые, мука пшеничная и ржаная.

Народ меж рядами — рабочие с Химзавода, с железной дороги — валит гурьбой, незлобиво переругиваясь с щегловскими старожилками, сбивая цены. Не сразу привык Силин после голодного пайка к тому, что рынок вольный и что денег у него по рыночным ценам достаточно, чтобы Неонила и ребятишки не нуждались.

В октябре, по первоцутку, деревня повезла на ссыльные пункты хлебный налог, но вскоре же в уисполком пришло письмом из Томска: «Дорогие товарищи! Невиданное стихийное бедствие поразило Поволжье, Северный Кавказ и Украину, вследствие полного неурожая рабочие и крестьяне тридцати трех губерний Рос-

сии обречены на голодную смерть...»

В уисполкоме прочли этот отчаянный призыв, распределили всех ответственных работников по волостям и разослали в тот же день с заданием: сверх и помимо налога собрать с мужиков пожертвования в помощь голодающим. Пусть дадут, кто сколько может и желает...

Силину досталась та самая Вознесенка, у которой в сентябре разбили Олсуфьева — село богатое и своевольное. Еще летом, до боя, Силин там наводил порядок, была тифозная вспышка: четверо мужиков возили хлеб на станцию Ижморка, и там кто-то из них подцепил тифозную вошь. Однако ни на осмотр, ни на дезинфекцию в избах все четверо ни в какую не давались. И лишь когда один из них, Досифей Корнилов, и его жена в тифозном жару слегли, Силин уговоры отбросил, применил силу... Словом, он знал, что поладить с тамошними мужиками будет не просто.

Так оно и вышло.

Собралось в сельсовете человек с полста. Силина выслушали одни вроде с пониманием, другие хмуро, третьи и вовсе со злой усмешкой; на его призыв помочь голодающим один из мужиков — чернявый, с реденькой бородкой и проплешиной на лобастой голове — спросил, перекрывая недовольный гомон:

— Ты, гражданин хороший, почему против власти на прежние порядки вертишь? Есть сейчас продразверстка али нету ее более? — Он вытянул левую руку, правой загнул на ней мизинец! — Нету! Опять же налог село сдало сполна и квитанции имеются — так? — Он торжественно загнул второй палец. — А ты снова приехал с нас тянуть? Что село от тифа спас, тебе общий поклон, и на том шабаш! Вот тебе наш сказ: поверх налога не дадим! — И рука его как бы сама собой при этом сложилась в дулю, которой мужичок под одобрительные смешки помахал перед лицом Силина.

Силин не поморщился. Он молча смот-

рел в толпу, пока мужики не стихли, потом проговорил:

— За Уралом люди от голода мрут. Такие же, как вы, русские люди. Дети по ночам не спят, криком исходят, а накормить нечем, собранного по налогу хлеба на покрытие голода не хватает. А вы тут... Разве же это мне твоя дуля? Разве ты меня обидел? Ты голодным фиту показал! Ты их обижаешь! А еще, поди, и православный, в Господа веруешь! О спасении души молишься!

Мужичок вдруг взъерился:

— А ты чего меня моей верой попрекаешь? Сам, поди, и крестного знамения сотворить не сумеешь, а туда же... Не тронь имя Господа всуе!

И тихо стало в сельсовете. Силин, еще с самого начала приметивший в дальнем углу отца Василия, здешнего настоятеля, повысил голос:

— Отче, крестным знамением осенять себя ныне не вправе, а имя Божие произнесу не суесловия ради, но во имя спасения людских жизней. Дозволь, отче, прочесть молитву.

Силин снял треух со звездочкой — тут все стояли и сидели одетые, холод в сельсовете царил вселенский, — заговорил полураспевом звучным голосом:

«Слава Отцу, и Сыну, и святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, имени твоего ради...»

Народ кругом стоял — иные и рты разинули, и мигать забыли — виданное ли дело? Большевикский комиссар из уезда читал наизусть слово Господне! Силин и мужиков в свете керосиновой лампы видел, и вытянувшего шею отца Василия, но полураспева не прерывал. Зря, что ли, моволил он еще год назад глаза чтением псалтири?

«Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое. Да придет царствие твое. Да будет воля твоя, яко на небеси

и на земли. Хлеб наш насущный дащи нам днесь...»

И тут вдруг увидел он в распахнутой настежь двери, за которой тоже толпился народ, Брокера. Возвышаясь над мужицкими головами, слушал тот молитву с изумлением не меньшим, чем набившиеся в сельсовет мужики и бабы. Мужичок, состроивший дулю, весело закричал:

— Ай, уважил комиссар! Даю на голодающих мешок зерна!

Отец Василий прогудел из угла:

— Благое дело, Евфимий, и я подаю мешок зерна страждущим...

Евфимий оказался здешним церковным старостой, и всем миром приговорили, чтобы зерно голодающим принимал он, а никак не председатель сельсовета, человек зряпный, не потому, что бедняк, а потому, что лентяй и пустомеля, выбрали же его председателем из-за того только, что считался безвредным.

Хлеб договорились собрать к следующей пятнице — в сибирской деревне введенных новой властью десятидневок и пятидневок не принимали, счет дням вели по-старому, на Христовы недели.

Часов в одиннадцать вечера Николай Петрович и Фридрих Адамович двинулись назад, в Щегловск. Брокер сел к Силину в легкие на ходу сани, верхового своего жеребчика привязал сзади к резной спинке саней. Николай Петрович испытывал сейчас чувство признательности к этому огромному, молча сидевшему с ним рядом человеку. Он знал, что на таежных дорогах снова стало беспокойно: по оперсводкам штаба ЧОН Томской губернии к селам Марининского и Щегловского уездов с верховьев рек Кия и Сарана начали выходить зимовавшие там банды Соловьева, не то штабс-капитана, не то подполковника колчаковской армии...

Брокер ездил в соседнюю Боянскую волость, тоже уговаривал мужиков внести пожертвования для голодающих, и

на обратном пути, выходит, сделал крюк верст тридцать, чтобы не ехать ему, Силину, через таежные дебри одному, ибо — береженного Бог бережет!

Сразу за Вознесенкой, залитой тихим ровным светом, дорога спустилась к реке, ее проскочили по льду, а там пошел крутой и долгий подъем на косогор, но отдохнувший за день мерин подъем взял легко. Теперь дорога вытянулась в подступивший справа таежный клин — там было тихо, завалено непролазным снегом. Потом сосны, перемешанные с березками, подступили к хорошо накатанной, заледенелой дороге и слева.

Брокер вдруг попросил:

— Придержи-ка мерина...

Он ловко выскочил из саней, отвязал уздечку своего жеребчика, дружески хлопал его по шее, вздел ногу в стремя и легко бросил свое грузное тело в седло. Конь под ним резво заржал, приплясывая, Брокер спросил сверху:

— Наган-то не забыл дома? Достань и держи под рукой. Езжай вперед и в случае чего стреляй без разговоров: у нас свои по тайге ночью не пастают.

Белая, ясно видимая в сиянии полной луны дорога змеилась сквозь уснувшую тайгу; Силин, не испытывая ни страха, ни даже тревоги, изредка поглядывал то вправо, то влево — густой и днем-то непроглядный сосняк громоздился стеной. До него было шагов с десяток что с той, что с этой стороны. Меринок, пофыркивая, бежал ходко, дорожная наледь, сбивая его подковами, летела в грудь Силину, а то и в лицо. Брокер, чуть поотстав, скакал сзади...

От черного ствола отделилась вдруг какая-то фигура, метнулась наперерез; сухо, буднично шелкнул выстрел, слева заорали в две глотки: «А ну стоять, суцьи дети! Стоять, не то постреляем!»

Силин с маху стеганул меринка. То-го, кто выскочил на дорогу из-за сосны, ударило оглоблей в грудь, он кувыркнулся в снег — сани пронесло мимо. Наскакавший следом Брокер пальнул по не-

му — попал? Промазал? Вскочили на дорогу и те, что орали слева. Силин резко натянул вожжи. Но помощи его не потребовалось: от выстрелов Брокера двое кинулись назад и пропали во тьме. Брокер крикнул: «Гони, Николай!» — сам развернул коня, чтобы глянуть, кого там сбило оглоблей, но тот успел укрыться за деревом. Нарываться же на его пулю смысла не было.

Брокер догнал Силина, спросил:

— Ты вроде и не стрелял?

— Да не успел, его сразу в снег сбросило! — Голос у Николая Петровича был веселый, возбужденный. — Может, вернемся? А то другой кто-нибудь от них не отобьется...

Брокер нервно засмеялся:

— Чую закваску, чую! Ловить их по тайге — разве поймашь, там конь утонет!

XIII

Сразу, как уехал Силин, к Неониле явилась санитарка из лазарета и запримечала, что не за хлебом для голодающих поехал Николай Петрович, а под конвоем и в кандалах, и сама-де слышала, как жалобно они вызванивали, когда усаживали его в сани; что вины его перед окаянными большевиками много и пощады ждать не приходится; и как бы не взялись проклятушие, эти антихристовы слуги за Неонила. Лучше бы ей с дитем укрыться куда ни то...

Откуда было знать оглушенной горем Неониле, что добрая старушка говорила со слов старейшей Кионии?

Еще два часа спустя пожаловала к Неониле и сама старейшая, сурово спросила упавшую в ужасе на колени женщину:

— Господа гневись? О спасении души забыла? Себя дьяволу предала и младенца в вечные муки ввергаешь?

Неонила еле смогла прошептать сквозь рыдания: «Не я, не я, Еварист Евдокимович благословил...»

— А что за отвратное письмо ему писала? В Антихристов мир захотела вернуться? А здесь всем Антихрист владеет, друг друга, видишь, как пожирают? Вчера господин офицер в начальстве ходил, ныне его в кандалах волокут на суд и расправу к душегубам!

Неонила повалилась на домотканый коврик, чуть не в голос зарыдала:

— Да что же мне делать, научи, старейшая!

Подошла перепуганная Александра и опустилась над Неонилой, обняла за шею, зашептала: «Поедем к Еваристу Евдокимовичу, сестрица, вымолишь у него прощение. А то боюсь: Николая Петровича в узилище ввергли, и нас могут...»

Собрались быстро, в час, уложили тряпье по баулам, да сколько было еды. Неонила и плакать уже не могла, шептала только: — Прощай, светушка мой, Николай Петрович, не увидишь больше ни меня, ни сыночка!

Собирая литой складень, углы комнат перекрестила на случай, если Николая Петровича отпустят и он вернется, он ведь все равно поймет, что случилось, где ее искать, в беде не оставит...

...До Щегловска по накатанной дороге ехали ходко, мороз жег изрядно, но Силин отчего-то теперь совсем разволновался, даже не почувствовал, как правая щека примерзла, побелела... У Никольской церкви он попрощался с Брокером и тут же не выдержал, погнался меринка во всю мощь.

Выпрыгнув из саней, он глянул на свой второй этаж — черные окна молчали, и у Силина тяжело ударило сердце. Еще надеясь на что-то, он в потемках кинулся вверх по лестнице. Сбросил торопливо себе под ноги огромные меховые варежки, подарок Неонилы к прошлому Рождеству, нащупал тяжелый кованный ключ, отомкнул — все спеша, все как в лихорадке...

Зажженная им лампа с голубым стеклянным абажуром осветила разгром: стулья опрокинуты, половички скомканы, на столе, под лампой, недоеденная каша, ложка торчком...

Самое худшее, чего он боялся, случилось: семью его выкрали. Подло, по-бандитски. И он знал, чьих черных рук это дело.

«Что-то же надо делать, что-то же надо делать...» — твердил он себе, но это горькое горе было выше того, что могла вынести его душа. Забыв о морозе и варежках, бросился он с грохотом вниз, вскочил в сани и погнался — вверх по Тисульской.

В дом Брокера он не вошел — ворвался. Схватил Фридриха Адамовича за плечи, не стыдясь, заплакал:

— Ты знаешь! Ты знаешь... Фредо, они их украли... жену и сына! Их увезли!..

Брокер растерянно оглянулся на замершую у стола жену, спросил сколько можно спокойно:

— Кто это «они»?

Силин опустил руки.

— Ты не знаешь, это страшная секта, «бегуны», они умерщвляют детей, якобы во имя Господне, я жил у них два года... Они отпустили со мной Неонилу на слово, что верну по первому требованию ее и сына... Я сюда увез, думал, не сыщут...

Брокер обернулся к жене — ну что, Эльза, видишь, не до ужина.

— Пойдем, Николай, ко мне на службу, все расскажешь, тогда станем думать, чем тебе помочь.

Брокер в тот вечер одного Силина не оставил, после подробной, за полночь, исповеди привел к себе, и ужином накормил, и спать уложил на диване — куда же, мол, тебе в пустой дом, ты там умом тронешься!

Силин, все из себя выплеснувший, безвольно подчинился и еще неделю квар-

тировал у Брокера, пока сердце не отпустило.

Брокер разослал телеграфом уведомление по всем железным дорогам Сибири на розыск Неонилы, младенца трех месяцев и девочки Александры тринадцати лет, при них возможна женщина — сопровождающая, сорока примерно лет, именем Киония. Копию уведомления показал Силину: — Вот, смотри, все дорожные Чека по их следу пустил. Теперь наберись терпения.

— Да сколько же ждать, Фредо?

— Давай прикажем, пусть их завтра же найдут и доставят. Тебя это устроит?

Силин опустил голову: стало неловко. Брокер неделю возился с ним, сочувствовал, поддерживал молчаливо, по-мужски. Сказал тихо:

— Никому — слышишь? — никому, даже злейшему врагу такого не пожелаю... Вот представлю себе, как Еварист моего Петюшку на Рождество в ледяную иордань якобы во имя Господне опускает... Послушай, пусти меня в Ныроб...

— Я же тебе толковал: Сибчека уведомит уральских чекистов о твоём материале...

— А я знаешь чего боюсь? Налетят на Илыч тамошние чекисты и чиновцы, не столько с Еваристом разберутся, сколько все вверх дном перевернут, кельи разорят, мироотречников кого по тюрьмам распахают, кого просто разгонят. Получится, люди за свою веру пострадают, а я после всего этого где буду искать жену и сына? Мне прежде всех туда надо попасть, прежде чекистов...

— Один ты с Еваристом не совладаешь. Вот как Уралчека вызовет, так и поедешь.

Старейшая Киония вырванных ею из рук Антихриста Неонилу, дитя ее и Александру по железной дороге не повезла. Решила до Ныробского братства пока не добираться: путь был слишком

уж далек и труден. К тому же можно было угодить в руки властей.

Наняв возницу с кошевкой, привезла она всех троих в уездный город Мариинск, где известен ей был по давним временам один адрес — пристань Томского братства. Лет семь-восемь назад, еще до Германской войны, Киония жила там некоторое время. Державший пристань купец Парамзин, как оказалось, умер от тифа еще в девятнадцатом году, но старший его сын, сорокалетний Досифей Парамзин, истинно православной веры придерживался твердо. Кионию он помнил, беглецов принял, не раздумывая. Отказать в пристанище, даже страшась властей, воистину не мог.

Казалось поначалу Кионии, что все исполнила по вере и правде, всех-то супротивников провела и обманула: и господина офицера оставила с носом; и антихристы-чекисты ее не схватили и теперь уж вряд ли найдут. Единую только Бога обмануть не могла, он, видно, всего ее искусства и не принял.

На другой день, как обосновались в полуподвале под просторным пятистенком Парамзина,хватила Неонилу горячка, запытала она вся, губы потрескались, глаза на Кионию смотрят, да ничего не видят — двести верст в кошевке по морозу даром, видно, не прошли. Пропало у Неонилы молоко. Перегорело. Петюшка криком исходит, есть просит. Александра хлебного мякиша нажевала, в тряпочку завернула, сама от жалости к младенцу слезами захлебывается, а Петюшка тряпицу не берет, язычком выталкивает.

Киония засуетилась, по крутой лестнице из полуподвала полезла — может, молочка коровьего вскипятить, может, еще как помочь? А как?

У Досифея Парамзина жена, Хрисия, тоже истинно православная христианка, и рада бы помочь, да кормить грудью трех своих ребятишек вон еще когда бросила, большенькие они. Живет, правда, через три дома соседка, молодуха, — та

кормит, но не истинная христианка, из никониан...

Киония руками замахала — грех-от, еретичке дитя давать! Опять же как объяснишь, откуда дитя? Ну, будем поить коровьим, может, обойдется...

Словом, с неделю Киония, Хрисия и Александра вокруг Неонила и Петюшки провозились, как могли. Неонила травмами да настоями поили, но младенца не уберегли — помер и до ночи лежал в узелочке, в углу полуподвала, под святыми иконами.

Ближе к ночи Досифей принял тельце из рук зареванной Александры, вынес из дому. Киония, распластавшись на полу, весь этот день епитимствовала, до узелочка дотронуться не могла.

Вскоре Неонила как бы опомнилась, тихо сказала:

— Старейшая, давай Петюшку, кормить же надо...

Александра к ней на топчан присела: обняла: «Сестрица, милая, пока ты в беспамятстве была, помер наш Петюшка, была на то Божья воля, одна я у тебя осталась...» Стала Неониле глаза, щеки целовать, а та села, рукой в угол показывает:

— Что ты, Санюшка, вот же он, сыночек, неси ко мне! — А там подушка лежит...

Вот и стала Неонила подушку тетешкать, разговаривать, ласково так, из рук не выпускает, с собой рядом на ночь укладывает... А то с Николаем Петровичем беседу ведет, сына ему показывает...

Киония из одной епитимьи в другую, изнемогла вовсе, но к Неониле не подходит. Неделю ждала, другую — может, очнется? Тогда в Томскую пустынь ее увезет, сама в Ныроб двинется... А Неонила все не в себе, все подушку грудью кормит, светушку своего дожидаться не может...

И поняла старейшая Киония, что Господь ничего не принял — ни искуса, какой придумали они с Еваристом для господина офицера, ни того, что из этого получилось.

Ночью Досифей Парамзин вывез Петюшку в саях за город и оставил его, некрещеного, в черных заснеженных кустах в пойме реки Кии. Долбить могилу в смерзшейся камнем земле в такие дьявольские времена Досифею и в голову не пришло. И стал Петюшка ждать весеннего половодья, когда зальет Кия куры и курьюшки сначала поверх льда, потом взломает зимний матерый лед и понесет ссохшееся от мороза тельце далеко на север, к самому Океану...

Конец первой книги

Александр Глазырин

* * *

Одну надежду берегу:
смогу под старость, может статься,
в своем краю в любом стогу
под перепелку отоспаться,
лишь кони хрупали б травой
и мордой теплой проверяли,
что не совсем уснул — живой! —
проснусь, когда поспеют дали.
Проснусь. Туман стога повеет.
В ольхе, невидимой с пригорка,
так нежно птаха пропоет,
что вдруг за спешку станет горько.
И поднимусь я в полный рост,
но роста моего не хватит
увидеть старенький погост
к пустующей приткнутый хате.
Я на березу заберусь,
но и оттуда не открою
поспешно пройденную Русь,
оплошно брошенную кровлю.
Но сон на сене освежит.
Туман уйдет к реке низиной
И так захочется пожить,
так, что слезой лишь выразимо!

* * *

Повелела мне пожарница трубу побелить.
Ах, пожалуйста, пожалуйста! —
белить — не пилить!
Уж я глину помесил,
помесил!
Наносил и насушил
девясил
и овсяную солому принес
(это — чтобы не сказать,
что навоз!)
Я на крышу наташил
и того и сего.
Я помажу, побелю
да взгляну на село.
Пролегает за ложочком
ложок,
проживает за дружочком
дружок —
никому-то ничего не должны,
но кому-то для чего-то нужны.
Повелите мне, пожарница,
не пить — не курить,
повелите вместо крыши
диэлектрик набить...
Повелительница, дева, вели
на земле пожить,
а не у земли!
Заневестилась труба. Я сижу,
на пожарницу с надеждой гляжу.

* * *

Ходим парком навстречу друг другу
и расходимся молча,
но вьюгу
и дожди принимая на плечи,
говорим про себя, издали:
— Вам сегодня живется полегче?

Вы и смотрите нынче получше!
— Ах, какой удивительный вечер!
Отчего же не мой Вы попутчик?
— Оттого, потому, вероятно,
что погода когда-то менялась,
и на Солнце пунцовые пятна

соответствия сдвинули малость,
чтоб у нас закрутились пружины
недостаточно, вместе чтоб свиться,
и чтоб вырвались души, как джины,
но не встретились в небе, как птицы.
Так и ходим. А Время проходит.
И не выдумать нам Антивремя.

И деревья, согласно погоде,
изменяют и нам настроенье.
Вам идет сегодня полегче,
Вы и смотрите нынче получше.
Ах, какой удивительный вечер!
Отчего же не мой Вы попугайчик?..

МОНОЛОГ БОМЖА

Сплю под лодкой. (Отсюда — «подонок»?)
И собака со мной — для тепла.
Поскулить бы совместно по дому,
да тоска стороной обошла.
Как тебя называть-то, лохматый?
Ты не бойся, не ем я собак.
Утром я мастерком и лопатой
налопачу на хлеб и табак!
Перебьемся с тобой на подёнке,
я работу с общагой найду
и к какой-нибудь доброй бабенке
пустырями тебя отведу.

Без посулов и дальних загадов
с ней попробуем песню сложить,
но придется тебе от закатов
до восходов крыльцо сторожить.
Будем честными, добрый ничейник!
Вроде вновь приглашают к огню
тех, что в мире, как в речке ручейник,
дом несли на себе и броню.
Грейся, друг! Лишь бы лодку не смыло
да к утру не ударил мороз,
да последний зеленый обмылок
ветер в воду с причала не снес.

ПИСЬМО ОРДИНАРЦЕВА СВОЕЙ ПОДРУГЕ

«За сотым километром и столбик — как моленка.
За сотым километром, как будто бы Америка!
Поселок, дизель — станция, селпо да молоканка.
Иди ко мне Настасьинька, моя «американка»!

Заря — не загазована. Начальство — с пониманием.
Судьба организована режимом и вниманием.
Скажи, кто жил, Настасьинька, на свете без ошибок?
В отечестве и окуни — с особого режима.

Сюда сгоняет ветром одни и те же лица.
За сотым километром лежит от нас столица:
в театр — не доблатуешься, в кабак — швейцару в лапу..
От этой жизни суетной заплем святую влагу!

Когда-то в роще Марьиной бабенке пособили:
другие люди ранили, но вовсе не убили.
Искать виновных хлопотно, а мы с Алешей — вот они!
Пока этапом топали, перевели нас в «окуни»...

Иди ко мне уверенно! И молоко здесь цельное!
Подумаешь — Америка!.. Здесь даже клуб со сценой!
И лягушня старается — поет всю ночь за плавнями.
Границы не стираются — и незачем! И правильно!».

НОВЕЛЛЫ

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ МЫШЬ

— Я уже совсем скоро помру, — деловито сообщает мне Максим в ответ на мое «здравствуй». — У нас в палате все почти новенькие. Старые уж поумерли. Остались я да Шурка. Его уже не облучают. Значит, он первый помрет. Я — после него, но тоже скоро.

Я знаю, что это — правда. Но не ищу и не произношу слов утешения. Честными не утешить. А врать этому семилетнему, почти уже угасшему, тихо дотлевающему человеку не могу. Его по-стариковски утомленные глаза, заглянувшие за горизонт, и сейчас сквозь меня видят что-то свое, неведомое мне.

— Тебе солдатиков от меня передали? — перевожу я разговор.

— Ага. Где таких интересных взяла?

— Один добрый человек дал.

— Кто?

— Ты его не знаешь. Просто я ему про тебя рассказала.

— А-а! — не удивляется.

— Играешь в солдатиков-то?

— Не-а. Как в одного поиграешь? Он у меня — под подушкой.

— Да почему один-то? Я же передала много!

— А, раздал. У меня — целая куча, а у других — нисколько. Что ли это правильно? — терпеливо растолковывает он мне мою бестолковость.

— А сегодня я тебе фонарик принесла. Вот видишь — горит.

— Да погаси! Чего днем зря батарейку-то жечь? Давай сюда, как стемнеет — зажгу. Я его в палате пацанам не пока-

жу. А ночью возьму да как включу! А они сразу: «Что такое? Откуда?»

Максим обрывает себя на полуслове.

— Нет, лучше я его Шурке дам, — вдруг решает он. — Если ему помирать будет боязно — пусть себе посветит.

— А чего это ты дома-то сидишь, на улицу не выходишь? Тебя зачем на выходные из больницы отпустили, а? Чтобы ты отдохнул, свежим воздухом подышал. А ты чем дышишь? Духотища-то у вас какая! Еще и накурено — аж синей!

Я в упор смотрю на отчима Максима. Но тот — будто и не слышит, папиросы изо рта не вынимает. В доме, похоже, Максима уже списали. Спешно готовят ему замену — мать пухнет в талии и шьет распашонки.

— Пойдем-ка, Максим, погуляем!

— Не! Опять голова закружится — в сугроб чебурахнусь.

— А я-то на что? Поддерживать буду.

— Ну да! Тропки тут больно узкие, идти вдвоем тесно. Забыла, что ли, как в тот раз-то? А у меня ноги дрожат вон, еле держат.

— Знаешь что, — придумываю я, — а ты пойдешь с лыжными палками. Они тебя и поддержат. А я тебе что-то покажу.

— Что?

— Нет, не скажу. Это — секрет. Вот пойдешь — покажу.

Заинтригованный Максим начинает одеваться. Накидывает пальтишко — совсем уж ему малое. Натягивает на уши

облезлую папчонку. Всовывает ноги в подшитые валенки. В сених берет свои лыжные палки. И мы с ним идем гулять.

А с палками-то — это я ловко приду-мала. Здорово они Максиму помогают. И все же мы с ним идем еле-еле. Впрочем, спешка нам и ни к чему. Второпях-то и пропустить что-то можно. А нам надобно многое углядеть.

Перво-наперво, конечно, — к кормушке. Она абсолютно пуста — ни провианта в ней, ни клиентов. Зачерпнув в кармане, я высыпаю туда горсть семечек. И мгновенно, будто возникнув из воздуха, кормушку заполняет шумная стайка разномастных пичуг. Пару минут там беспорядочно копошится, гомонит, всплескивает разноперая птичья масса — и снова в кормушке пусто. Лишь со всех сторон — разноголосое требовательное свистение.

— Вот обжоры! — восторгается Максим. — Р-раз — и всё слопали.

Я подсыпаю в кормушку семечек еще.

— Ой, гляди — дерутся! А этот-то, этот — сразу две семечки ухватил — во жадина! А вон той совсем не досталось, бедной! Дай-ка ей маленько!

— А ты угости ее сам!

Я забираю у Максима палки и насыпаю в его голубоватые полупрозрачные ладошки семечки. Стараясь не рассыпать их, не сронить ни единой, он неуверенно тянет ручонки повыше и замирает в ожидании. На всякий случай придерживая его за колючие плечики, вижу, как он весь преображается. Будто малые эти пичужки, что мигом слетелись к нему, крылышками своими смахнули серый пепел с Максимовых щек и раздули, казалось бы, вовсе угасший огонек в его мерклых, словно выключенных, глазах.

Забывая от восторга вдохнуть, Максим не шелохнется. Даже моргать перестал, чтоб не спугнуть ненароком своих робких юрких гостей. Легонький, весь остренький, с раскинутыми руками, — он сам похож на пугливую взъерошенную

птицу. Как-то очень по-птичьи подергивает своим тоненьким носом и нервно поводит лопатками — будто проверяет крылья, готовясь взлететь.

— Максим! Гляди-ка, кто к нам скачет!

— Ой, белка! Это та самая — твоя?

— Она, она самая. Здравствуй, Бэла! Не бойся, это же — Максим. Ты помнишь его?

А той — не до выяснения личностей. Наскоро обругав меня: зачем я тут птиц кормлю, а ее даже не кликнула, она, не дожидаясь, пока ее угостят, сама по-свойски лезет за семечками ко мне в карман.

— Вот! У меня! У меня возьми! — умоляюще шепчет Максим, протягивая белке лодочкой сложенные ладошки с остатками семечек. — Ну почему, почему она не берет у меня?!

— Потому, что она тебя плохо знает. Ты ведь редко приезжаешь. Вот познакомится с тобой получше — в другой раз, может, и возьмет.

— В другой раз меня уже не будет, — тихо говорит Максим.

— Пойдем-ка в гости! — обрываю я его. — Видишь? Вот здесь живет одна моя знакомая мышь.

— Это про которую ты мне рассказывала?

— Точно, она самая. Та, что приветы тебе всегда передает.

— Она хорошая?

— Да вообще-то вроде ничего. Только немножко глупая: видишь — норку выкопала прямо на тропке, у самой калитки. Разве умная бы так сделала? Ведь каждый, кто входит или выходит, обязательно наступит. Точно — глупая! Вот сейчас мы посмотрим, дома она или нет. Положи-ка семечку у самой дырочки — это вход к ней. А теперь — тихо! Т-с! Давай-ка подождем...

Ждать приходится недолго. Из норки высовываются длинные жиденькие усики — торчком в разные стороны. Мелко-мелко пошмыгали туда-сюда и — хват! Нет семечки.

Максим бессильно обмякает, наваливается всей ничтожной своей тяжестью на меня. Почти невесомое его тельце мелко пульсирует. Оказывается, он еще не разучился смеяться!

— А теперь положи-ка семечку чуток подальше!

Усы снова шмыгают, недовольно дергаются, вращаются, как стрелки, по кругу. Следом за усами из-под снега возникает остренький черный нос. Круглый выпуклый глаз смотрит на нас с укоризной. Наконец из норки появляется вся полевка, в полной красе: коричнево-красненькая, с аккуратной черной полосой вдоль хребта. Не спеша, с достоинством идет она к семечке и так же, не суетясь, возвращается с добычей восвояси.

— Холодно ей, небось, босиком-то по снегу! — заботливо говорит Максим и оставшиеся семечки высыпает у самого входа в мышкин дом. — Нечего ей выходить, а то совсем озябнет... А у нее дети есть? — вдруг спрашивает он у меня.

— Дети? — теряюсь я. — Не знаю. Может, и есть. А может, и нет.

— Конечно, есть! — убежденно говорит Максим. — Она же хорошая, как же ей без детей? И дом тогда ей зачем? Однако она и так бы прожила. А в доме она деток своих прячет. И семечки им таскает. Ой, — спохватывается он, — у меня же печенюшка в кармане. Вот, пусть-ка искормит своим мышатам. Только раскрошить надо, а то им грызть будет неудобно. Они же — маленькие.

Крошки и оставшиеся семечки Максим высыпает прямо в норку, чтобы мышке не приходилось лишний раз бросать детей и бежать за кормом.

— И вовсе она не глупая! — вдруг вспомнив мои слова, запоздало обижается за мышь Максим. — Она нарочно норку тут сделала. По тропке люди ходят. Кто-нибудь что-нибудь да уронит. А она сразу — хватить — в норку. Ты вон, когда птичек или белку свою кормишь, ни одной семечки не теряешь, что ли?

— А ведь ты прав, Максим! — соглашаюсь я.

И впервые понимаю, что ведь, действительно, места более удобного для поживы вряд ли где сыщешь. Калитку-то надо же открыть — закрыть. Значит, то, что несешь, — или в другую руку переложить, или же — в карман. Словом, колы чему уж суждено упасть, — так, прежде всего, именно здесь. А ведь моя знакомая мышь, оказывается, не так уж и глупа!

— Ну всё, Максим, — наконец торжественно провозглашаю я. — Теперь мы с тобой пойдем на заячью тропу. Может, и зайчишку увидим. Как прошлый раз, помнишь?

— Ага! — воспоминание об этом сразу взбудораживает Максима. Даже его хрупкий прерывистый голос становится крепче. — Ага! Я иду себе, иду. Его даже и не вижу. Думал — это сугроб такой под кустом. А он! К-как сиганет! Прямо вот из-под ног! Я аж чуть не чебурахнулся! Ка-ак выскочит! Да ка-ак припустит! Лапы — длиннющие! А уши — еще длинней! Сиганул — и в лес!

Максим рассказывает об этом всем: мальчишкам в палате, их родителям, врачам, сестрам, няням. А у матери в редкие ее приходы к нему все спрашивает, как там поживает заяц и мечтает снова его повидать.

Сегодня в успехе я почти уверена — на то имеются у меня свои причины. Пока — секрет.

— Ну, давай, Максим, кто первый зайчи следы заметит? Смотри внимательно!

— Вот! Вот они! Чур, я первый увидал! Вот тут их сколько!

Вся площадка у сарая сплошь истоптана. Будто недавно прошла здесь заячья демонстрация. Впрочем, так вполне мог наследить и один-единственный косяк, если бы очень постарался. А стимул для такого его старания имеется, и очень даже веский. В центре площадки — кочан капусты (наполовину уже изгрызан-

ный). Это-то и есть мой секрет. Ага, попался, значит, какой-то дурашка на мою приманку! Вот как он тут трудился. Может, только что отскочил — нас услышал. Но далеко убежать не должен бы — от этого-то богатства.

— Тс-с! Теперь, Максим, пойдем тихо-тихо. Может, он где-нибудь тут прячется, поблизости. Ты давай во все глаза гляди... Ой! Г-господи!

— Ты чего? — с тревогой смотрит на меня Максим. — Голова, что ли, закружилась? На вот одну палку, держись!

— Ч-что? Палку? А, да, да, голова... голова. Пойдем-ка назад! Быстро, быстро — домой!

Максим даже спотыкается от неожиданности, недоуменно заглядывает мне в лицо в надежде, что ослышался.

— Ты что, не слышишь, да? Живо, живо — домой!

В его глазах — мольба и слезы.

— А зайчик?!

— После. Когда-нибудь. В другой раз.

— В другой раз меня уже не будет, — говорит Максим. Но я его не слушаю и поворачиваю к дому.

Сдав сникшего Максима, бегом возвращаюсь назад. А может, померещилось?

Увы, нет! Вот же он, зайчишка-то, тут. И подпускает совсем близко, не убегает. И разглядывать его можно сколько угодно. Вот он — на непримятом снежке. Задние лапы выпрямил (какие они у него, оказывается, длинные-то!) А передние — к горлу подтянул. Будто пытается снять петлю. Тонкую металлическую петлю, плотно охватившую заячью шею...

С некоторых пор появилась у меня новая работа. Хожу на лыжах по лесу и собираю эти вот самые петли. Сорву, изнахрачу да еще рядом на снегу палкой нацарапаю: «Поймаю — убью!»

... А зайчишку повидать Максиму так и не довелось. Ни в тот раз, ни в другой. Провидцем он оказался — другого раза у него уже не было.

КОСОГЛАЗЫЙ ПРОВОДНИК

Ходить на лыжах я предпочитаю одна. И, если честно, — не только оттого, что обожаю тишину и одиночество. Тут — еще и другое. Не очень-то по праву мне (впрочем, как и вам, наверное), когда надо мной смеются. А ни один маломальский лыжник, конечно же, не удержится от ухмылки, увидев меня на лыжном, даже самом пустячном спуске.

Дело в том, что после пережитой автомобильной катастрофы поселился во мне властный, неодолимый страх скорости и высоты. И даже ничтожная горка на моем пути приводит меня в панику, подсекает ноги, почти парализует. Во мне автоматически срабатывает какой-то механизм, неподвластный воле. В результате абсолютно против своего желания я любой спуск преодолеваю... сидя.

От рождения упрямая и даже настырная, я и тут попыталась преодолеть себя, этот глупый страх переломить. И точно — переломила. Ногу. После больше месяца в гипсе ходила. А я и без того этого добра на себе перетаскала — не приведи бог сколько.

Плюнула и отступилась. Так и осталась жить с этим приобретенным пороком: одним больше, одним меньше — не существенно! Только идти рядом с настоящим-то лыжником стесняюсь. Вот и предпочитаю гулять на лыжах одна. Да путь по возможности стараюсь выбирать поглаже, без подъемов и спусков.

...К середине февраля образовался наст. Крепкий, надежный — под лыжами не крошится, не проваливается. А сверху легонький снежок упал. Благодать — и

идти не жестко, и старая, порядком надоевшая лыжня — ни к чему. Иди себе куда глаза глядят!

В тот вечер глядели они у меня на закат. И пошла я не спеша прямо к недалеющему неяркому солнышку в узкой червонно-рябиновой окантовке — завтрашней, значит, непогоде. Как раз в той стороне, поближе заката, — мой дом. К нему-то и направилась новым для меня путем. А путь этот, прямо скажем, не самый для меня удачный: то и дело — вверх-вниз, подъем-спуск. Пытаюсь лавировать, миновать крутизну, да не очень-то это у меня выходит.

Вижу — одинокий заячий след. Вообще-то зайцы по свежему снегу не любят гулять. Но тут, видно, большая нужда была у зайчишки. Похоже, в дальний путь он направился, причем явно — в мой край.

И вот интересно: поднимусь в гору — исчез след, спущусь вниз — вот он, снова тут! Ага, — смекаю, — да ты, брат, мудрец, однако. Правильно — зачем силы зря тратить, в гору скакать, когда можно ее обойти? Хитер ты, косой, хитер! А только я — хитрее тебя. Вот пойду-ка за тобой. И в гору мне не взбираться, и путь самой не выбирать! Пойду-ка за нечаянным проводником.

И ведь правда — повел меня заячий след плавненько да удобненько. Ни тебе крутых подъемов, ни спусков. Благодарить! И курс у косого с моим совпадает: как ни кружит он, как ни петляет, а все в нужную сторону топает — на закат.

Однако же все эти заячьи кружения да петляния здорово движение-то сдерживают. Иду, иду, а лесу все конца-края не видать. Уже и багряное кольцо вокруг солнца набрякло, потяжелело, неумолимо надвигаясь на светило, пока и вовсе не прикрыло его прозрачной алой заслонкой. А вот и заслонка эта побледнела, развернулась в розовую ленту и, недолго повисев на краешке неба, упала за дальний лес.

Теперь бы мне только направление не потерять. Будем надеяться, что мой незнакомый проводник не вздумает срочно курс сменить. Благо луныца вон какая вылезла — каждый следочек высвечивает...

Уже совсем почти ночью надвинулась на меня горстка неярких огней и обступила с двух сторон. Улочка деревенская! Это еще что за наваждение? Никакой деревни ну никак на моем пути быть не должно! Не первый уж год я тут, каждую дачку знаю наперечет — не то что деревню.

— Здравствуй, бабушка!

— А ты чья это, девка, будешь-то? Не признаю что-то.

— Да ничья, так — сама по себе. А какая это деревня, бабуля, а?

— Чего?!

— Как, говорю, деревня-то ваша называется?

— Вот те раз! Шуткуешь, девка, что ли? Жургавань, конечно! Как же ей еще то называться?

Жургавань?! Вот это уж точно — наваждение! Да она же — у самой реки, под вы-ы-соченным обрывом. Я, когда днем на нее со своей верхотуры-то просто смотрю, — у меня и то голова кружится. Да как же это я, коль каждой кочки боюсь, вдруг умудрила спуститься-то сюда и даже не заметила?!

Не верю бабке — стучу в чье-то окно, еще раз переспрашиваю. Но и здесь ее слова подтверждают. Ничегошеньки не понимаю. Ошарашенная, кружным путем иду домой.

Так до сих пор в недоумении и пребываю. Уж я и зимой, и летом, и так, и этак весь берег обследовала. Всюду — высьотища и крутизна. Ну как, спрашивается, как могла я спуститься в ту ночь так уж плавненько, что и не заметила даже? Ну, косой, ну, хитрец! Это надо же — так умудрил!

Так и не решу до сих пор: кто из нас двоих кого перехитрил? Я — его? Или же он — меня?

МОЙ ПРИЯТЕЛЬ ПРАВЫЙ УНТ

Сквозь сон чую какое-то неположенное шепуршание, колыхание, барахтание. Недовольно размыкаю тяжелые, совсем еще сонные веки и прямо перед собой вижу курносую волчью морду. Вжалась в оконное стекло. Нос расплюсчен. В распахнутой пасти угольно-раскаленный язычище жарко дымится густым паром, который, мгновенно обратясь в иней, оседает на стекле косматым белым мочалом.

— Мухтар, паршивец! Опять все окно мне заледенил, весь белый свет от меня упрятал! А ну, пшел!

Развернутая пасть захлопывается. Горячий гейзер разом иссякает. Носище отлипает от стекла. В проеме рамы проплывает классический профиль огромной овчарки, потом — нескончаемо длинный заиндевелый ее бок. Окно жалобно звеняет от радостного удара могучим хвостиком. Ох, высадит он все же стекло, как пить дать — высадит! Через минуту слышу слоноподобный топот на крыльце.

Чертыхнувшись, сую ноги в тапочки, накидываю пальто, выхожу на веранду, открываю дверь... В то же мгновение нечто бесформенное и безразмерное, разом горячее и ледяное наваливается на меня, вернее — заключает меня в себя. Не успеваю спрятать лица — мигом жарко, шершаво облизана.

— Тыфу ты! Ну и зверина! Ты же меня задавишь, ей-богу! Ну, хватит, хватит! А снегу-то, снегу-то опять натащил! Не мог на крыльчике-то отряхнуться, что ли? И чего это снова этакую рану пожаловал? Нет у меня ничегошеньки — не готовила еще, сплю, не до гостей пока. Даже хлеб еще не грела.

Для убедительности беру с полки в камень замороженную черную буханку и показываю.

— Видишь?

Мгновенно распахиывается, будто чемо-

дан, пасть. Один недолгий втягивающий вдох: «А-а-у-х-х!» — и буханка исчезает где-то в неведомых недрах.

— Вот это да! — ахаю я. — Ну ты даешь! Это — фокус!

Кажется, сам Мухтар поражен не меньше меня. Удивленно оглядывает мои пустые ладони, заглядывает мне за спину и требовательно сверлит меня глазами: где?

— Да слопал же ты ее! Одним махом замотил! Как не подавился только? Ну, чего ищешь-то? Да в брюхе она у тебя, вот где!

Мухтар внимательно вслушивается в себя — видно, хлеб начинает оттаивать. Он недоверчиво косит глаза, заводит зрачки под веки, пытаюсь заглянуть к себе внутрь, в утробу, — удостовериться, что буханка, действительно, там.

Горсть магазинных пельменей (тоже мороженных) он провожает следом за булкой, даже не трясая на какое-то движение, кажется, — одним только взглядом.

На закуску мой гость получает маленькую сладкую булочку, вкуса которой он, должно быть, ощутить не успевает: она просто размазывается по пасти, и заглатывать оказывается нечего.

— Ну, все, друг, все! Тебе только волю дай — ты у меня тут подчистую всё уметешь. Заодно и меня с потрохами слопашь. Приходи попозже — что-нибудь сготовлю, теплым угощу. Ну, не слышишь, что ли? Давай, давай — домой! Я уж озябла тут с тобой. И тебе хватит уж прохладиться — на работу пора. Забыл про службу, что ли?

Мухтар ухитряется еще раз благодарно лизнуть меня в щеку, пару раз оттянуть своим хвостиком, как ремнем, по голой ноге. И поспешает домой. Он ведь, и правда, на службе.

Служит Мухтар тут у нас по соседству сторожем. То есть официально зна-

чится на службе и зарплату получает его хозяин. Но он здешней лесной неустроенности предпочитает городской комфорт. А почетное право нести службу доверяет Мухтару. Надо сказать, что тому это удастся блестяще, гораздо лучше, чем самому хозяину. Даже в пиковые периоды самых беспардонных повальных разбоев Мухтаровы владения всегда остаются нетронутыми. Да и то сказать: эту зверюгу только заведишь — ноги сами прочь унесут.

Мухтар, конечно, в основе своей — овчарка. Но явно не чистопородная. Для этой породы у него как-то все «слишком». Он слишком велик, слишком лохмат, слишком страшен — есть в нем нечто медведистое. И когда он раскрывает пасть и, не напрягаясь, вроде легонько произносит «а-а-ы!» — даже в жару становится холодновато, а близкие сосны вздрагивают и долго потом укоризненно качают верхушками.

Хозяин регулярно осуществляет контроль за тем, как несет службу Мухтар. Раз в неделю он приезжает из города, строго обходит владения. Иногда топит баню и тогда впрягает Мухтара в санки, ставит на них флягу и едет по воду.

— Мухтар постоянно голодный! — неоднократно пыталась я вразумить хозяина. — Он ведь громадный, к тому же еще растет, ему еды надо много!

— Да я же ему каждый раз пол-ящика сухарей привожу, на всю неделю должно хватить!

— Да, но вы, наверное, плохо объясняете ему, сколько надобно съесть в понедельник, а сколько — в четверг. Вот он сдуру-то и съедает все разом, в первый же день. А что же прикажете ему делать потом, всю неделю?

Потом, всю неделю, Мухтар ходит столноваться ко мне. Я, правда, насчет стоготить-то не шибко разбежусь. Но чем гостя приветить — у меня всегда сыщется. Мы же с ним как-никак соседи. К тому же — коллег: у меня ведь здесь служба-то — сродни его.

Вот так и живем помаленьку — соседствуем, служим, дружим.

— Псу-то твоему — каюк скоро! — радостно сообщает мне при встрече маленький малознакомый деревенский мужичок. — Ага, точно! Петька его на унт приглядел. Левый-то он из Лады пошел. «А это, — говорит, — мой правый унт бега-ет. Пуцай еще малость поживет, покуда ва подшерсток как следует нарастет». Так что скоро уж каюк дружку-то твоему, ага! Так что радуйся: хоть харч сэкономишь, а то сколь добра-то задарма гробишь!

Петьку я знаю. Краснорожая эта образина будет сниться мне в страшных снах. По осени, когда схлынет из здешних мест дачная публика, оставив после себя множество разномастных Тузиков и Мурзиков (потешились летом — и ладно, не везти же их, в самом деле, в город!) — вот тогда начинается у Петьки веселая жизнь. Забавляется он тем, что подманивает брошенных оголодавших кошек да собак и... сжигает в печи. Живьем. Просто так. Для потехи. А после ухахатывается, живописуя веселенькие картинки:

— А, неохота сдыхать — дак откуда только и сила берется! Ить, веришь, как эта зараза начала колотиться — чуть топку не разнесла. Ага, пригрело, значит, малость? Хорошо еще — дверку на задвижку закрыл — а то бы выскочила!

— Эта-то стерва чо учудила? Как принялась выть, как заорала блажником! Ага, давай — попой малость, попой! Дак ить как завелась паскуда — думал, и не заткнется. Там уж, поди-ка и не осталось ничего, одна глотка луженая, а все — вопит!

— Не, эта сволочь неинтересная попалась. Р-раз! Пыхнула — и все. Тыфу! Мелюзга противная! Харчок — и ничего больше!

В Петькином голосе — разочарование, даже — обида. Обманули его ожидания. Не вышло настоящего театра, так себе спектакль — плевый!

Да, знакомая мне личность — этот самый Петька.

И Ладу я прекрасно знаю... то есть — знала. Славная была собака. Тоже тут по соседству на службе состояла, как и Мухтар. Серьезная собака, умница, работяга. Но, боже мой, до чего же некрасива, до чего же несуразно скроена! Мощное длинное туловище. Широкая, как лавка, спина. Махонькая головенка. И коротенькие, будто обрубки, лапы. Словно какой-то шутник собрал ее из случайных, абсолютно неподходящих, никак не пригнанных друг к другу деталей.

Характера была Лада основательного, не вздорного. По пустякам брехать обыкновенно не имела. В обычные местные свары никогда не ввязывалась. Да и некогда ей было глупостями этими заниматься.

Участок она охраняла — большущий. Попробуй-ка всюду посней! А к службе Лада относилась чрезвычайно ответственно. К тому же — сколько я ее знала — обычно пребывала она в одном из двух состояний: или на сносях, или же кормила щенков. В материнстве была такой же обстоятельной, как и во всем другом, и эти свои обязанности исполняла истово. Несколько раз приводила ко мне на показ своих кутят — ухоженных, чистеньких, сытеньких.

Так вот, значит, почему не видно Лады последнее время. Стало быть, она теперь — левый Петькин унт! А Мухтар, выходит, — будущий правый! И, быть может, превращение это должно свершиться совсем, совсем скоро!

Спешно раздобываю городской телефон Мухтарова хозяина и истошным голосом ору в трубку, чтобы он срочно приезжал. Тот, должно быть, решив, что в его владениях случился пожар, примчал на такси удивительно скоро.

Узнав от меня суть дела, хозяин успокоился. Перспектива остаться без такого надежного зама, чтобы после, чего доброго, самому прозябать здесь, — нет,

такое его категорически не устраивало. Однако и радость объяснения с Петькой как-то не вдохновляла. Был избран третий вариант: Мухтар был спешно посажен на цепь. Цепь длинная — любая точка охраняемой территории ему доступна. А вот за ее пределы огненные пути Мухтару заказан.

— Он на цепи-то совсем звереет, — сказал мне хозяин. — Даже глаза у него от бешенства кровью наливаются. Пусть только кто сунется — мигом разорвет и по частям разбросает!

Теперь Мухтар ко мне не приходит. Я сама прихожу к нему. Довольствие у него прежнее — сухари, выданные разом на неделю. Но уже на следующий день после отъезда хозяина ящик из-под сухарей бывает пуст. Собрав в газетку нехитрую передачу, каждый день отправляюсь на свидание с заключенным.

— Э-эй, Мухтар! Это я иду! — кричу еще издали. И он, услыша меня, заходится в радостных рыданиях.

— Ты не станешь меня разрывать? — на всякий случай осведомляюсь я. — И разбрасывать по частям, как обещал твой хозяин?

В его ответе — столько радости и ликования, он так отчаянно рвет цепь, устремляясь ко мне, что я, боясь, как бы он не порвал ее, скорее сама лезу через высоченный железный забор.

А ведь он-то первым делом не к свертку моему ринулся, а бросается ко мне со своими объятиями. И снова не успеваю я спрятать лица от его горячего шершавого язычища.

— Да тише ты, тише! Ты же свалишь меня, ей-богу! Нет, все-таки медвежья кровь в тебе есть — это точно! Ну, здравствуй, Мухтарка! Ах ты дорогой унт, правенький!

Теперь в гости к соседям хожу с мешочком и умоляю их объедки не выбрасывать, отдавать только мне.

— Дура ты, дура! — ласково, по-дружески наставляют они меня. — Лучше бы

поросенка себе завела — хоть бы толк был, а так?..

Как-то пришлось мне уехать в командировку дней на десять. Видно, и хозяин за это время не навещался ни разу. Мухтар в одиночестве-то полящика стрыз. Нет, не от тоски — просто съел. Грыз доски, перемалывал своими клыками и съедал. Чтобы с голоду не сдохнуть. Вот так!

Хозяин жалуется, что Мухтар никогда не дает пройти мимо моего дома — рвет из рук поводок, мчит к окну и, встав на задние лапы, приплюснув морду к стеклу, передними требовательно колотит по стеклу (ой, батюшки, все-таки высадит когда-нибудь!): выходи!

Если же доводится нам повстречаться на улице — это, я вам скажу, бывает картинка! Некоторое время Мухтар та-

щит за собою хозяина на поводке. Наконец, вырвавшись, не выбирая дороги, рассекая, как вездеход, сугробы, бурано взвихривая снег, напрямик прет ко мне. Встречные в смятении, с воплями бросаются врассыпную. И только я бегу к нему навстречу:

— Мухтарушка! Дорогой! Правый унт! Правенький! Унтичек!

...А по весне велела я хозяину спустить Мухтара с цепи.

— Видите, ливань он начал? Какой теперь из него унт? До следующей зимы можно не бояться.

...А следующая-то зима — совсем близко. Она уже вовсе не следующая, а вполне даже нынешняя. Как-то переживет ее мой приятель Правый Унт? И переживет ли?

Александр Катков

* * *

* * *

Россия не во мгле — в очередях,
не разобрать, где глушь, а где столица.
И осеняет кумачовый стяг
моих сограждан сумрачные лица.

Россия, Русь, ну как тебя постичь?
Залиться, что ли, горечью и водкой,
чтоб уж тогда сумели нас постричь
одной гребенкой под одну колодку?

На всех ветрах стоишь, моя страна,
Дай Бог прожить и передюжить смуту,
чтоб, стыд и горечь не испив до дна,
отринуть их в последнюю минуту.

А там, дай Бог, окончится злоба
и мы, свои неслыханные боли
стирая с окровавленного лба,
придем друг к другу с верой и любовью.

Это я — моя отчизна,
где бранятся, утром пьют,
маются о смысле жизни
и без спросу в морду бьют.

Я люблю твои надежды
на мирскую благодать,
твои нищие одежды,
те, в которых умирать.

Не люблю твоих холопов,
лижущих ладонь твою.
Бог им всем судья, но только б
ты не встала на краю.

Я один путем овражным
поташусь, судьбу гробя,
потому, что очень страшно
мне, Россия, за тебя.

ПОЕЗД

Неумолимо, как виденье,
он расписание соблюдал.
В нем кто-то спал и видел деньги,
а кто-то плакал и не спал.

И каждый, с богом в несогласье,
молился богу напоказ.
И было чинно в первом классе,
буянил пьяно третий класс.

А поезд был без машиниста,
и это знал любой вагон,
но под захлеб литавров быстрых,
чугунно-бравурный разгон

в купе-квартирах распивали
привычно водку и вино
и злые песни распевали,
и было людям все равно.

Ключ восьмигранный! Младая хозяйка!
Тесть именитый! Большое жилье!
Где ты, моя восьмигранная гайка!
Ну-ка скорее открутим ее!

— Ваня, не надо! — хозяйка решает,
За руку нежно Ванюшу берет.
— Как же не надо? Ведь гайка мешает!
— Гайку отвинтишь — вдруг что отпадет?

Ваня послушал младую хозяйку.
Пуп-то железный зазря надрывать!
Взял боевую свою балалайку,
Путь героический стал воспевать!

А гайка действительно каждую ночь
Ванечке очень и очень мешает!
Но открутить ее не разрешает
Зело терпеливая царская дочь!

* * *

Жаль, что нету птицы райской,
Чтобы слушать ночью майской!
Всех деревьев местных кроны
Украшают лишь вороны!
Всюду слышно: кар-р-р и кар-р-р!
Вспомнил я, что сам — Икар,
И слетал однажды к Солнцу,
И поймал на Солнце сойку!
Взял ее в родимый край,
Сунул в крону — умирай!

Но стрекочет сойка в кроне
И не хочет погибать!
Нелегко ее персоне
Ветки тяжестью сгибать!

И рычит на сойку крона:
Почему ты — не ворона?!
Неворона средь ворон!
Ты наносишь нам урон!

В кроне этой не приснится
Ни голубка, ни синица!
А однажды наяву
Я упал спиной в траву,
Глянул зорко в синеву —
Пала в руки мне Жар-птица,
Чтоб в Царевну превратиться!
До сих пор в ладонях жар!
Горяча — не удержал!..

* * *

Летя домой из города Парижа,
Пилота хлопну по плечу: — Пилот!
Внизу блестит возлюбленная крыша!
Сажай мой персональный самолет!

Встречать меня ты прибежишь с букетом!
И скажешь, нежно глядя на шасси:

— Ты стал великим импортным поэтом!
А был последним нищим на Руси!..

Заплачешь и начнешь просить прощенья,
Опустишь глазки, в спальню пригласишь...
— В гробу я видел ваши восхищенья! —
Скажу. И улечу домой. В Париж.

«ТЕПЕРЬ ТЫ МЫСЛЬ. ТЫ ВЕЧЕН...»

Давно пора нам сказать себе: Бунин — это сама Россия, и нет России без Бунина, как нет ее без Толстого или Достоевского. Алмазная ясность стиля, его человеческая цельность и прямизна творческого пути — пример исключительный в наш исковерканный, смятенный век. Бунин не только образец взыскательности художника к своим произведениям, которые он переделывал до конца жизни, но и эталон моральной чистоты. Нигде и никогда он не допустил компромиссов с чуждыми ему направлениями в политике или искусстве.

Его называли еще в начале века «антисовременным писателем»: он считал европейскую цивилизацию великим искушением человека и природы, он исповедовал циклическую историческую доктрину: на местах шумных городов вновь воцаряется запустение, степь и пустыня. Трагедию века видел он в том, что Россия, не достигнув зрелости, стала отходить, как Вавилон, в «поля мертвых».

Свой жизненный принцип: «ничего лишнего» Бунин применял и при оценке новейшей словесности: «Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, прямота — и морем разлилась вульгарность и дурной тон...» Октябрьский переворот он понял, как окончательное торжество тех темных сил, которые сотрясали Россию с начала века и вели к подмене ценностей, к вытеснению национальной государственности.

Последней возвращается домой бунинская публицистика. «Окаянные дни», дневники гражданской войны, были опубликованы несколькими советскими журналами, но с большими купюрами (наиболее полно, но также с пропусками, — «Даугава», 1989 г.). Русский

читатель имеет право знать всего Бунина, знать, как видели революцию не принявшие разрушения, не склонные фетишизировать кровавый «разгульный праздничек, которым Русь потешила себя за баснословную цену» («Несрочная весна»).

Даже стихи Бунина 1918—1919 годов не попали в девятитомное собрание сочинений, пока наиболее полное на родине писателя.

По мнению одного из друзей Бунина, А. Седых, образ писателя, созданный советскими мемуаристами Л. Никулиным и В. Катаевым, далек от правды: «Воспоминания Катаева, конечно, интересны... но то, что привело бы Ивана Алексеевича в бешенство и что заставило бы его навеки отказаться от знакомства с бывшим учеником, заключается в одной фразе, звучащей как социальный приказ: «Бунин променял две самые драгоценные вещи — родину и революцию — на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости».

Драгоценна каждая строка Бунина. Вот эти четыре можно считать эпитафией:

*То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль.*

Ты вечен.

Бунин никогда не имел даже постоянной квартиры и никакой собственности. Две удачи видел он в своей жизни: избрание членом Российской академии наук и лауреатом Нобелевской премии. И вот уже тридцать пять лет идет медленное возвращение Ивана Бунина домой, на родину. Это мы достигаем постепенно до него.

А. Казаркин

РАЙ И ВАВИЛОН ИВАНА БУНИНА

В рассказе «Петлистые уши» мрачный злодей Соколович изрекает с какой-то торжественностью: «...С Каином гориллам двуруким нечего равняться! Далеко ушли они от него, давно потеряли наивность — вот с тех самых пор, вероятно, как построили Вавилон на месте своего так называемого рая». А в стихотворении, написанном в том же, что и рассказ, 1916 году, Бунин развертывает библейские образы, ставшие символами его поэтического мира.

*И шли века, и стены Рая мали,
И Сад его заглох и одичал,
И по ночам зверей уж не пугали
Блистания небесного Меча.
И Человек вернулся к Раю, — вскуе
Хотел забыть свой золотой он сон —
И Сатана, злорадно торжествуя,
Воздвиг на месте Рая — Вавилон.*

Вавилон на месте Рая — ключевая метафора всего творчества Бунина. Он искал Рая, но в 20-м веке обречен был находить Вавилон. С каким чувством утраты райского золотого сна передает художник в «Жизни Арсеньева» свою тоску по древней родине, рассматривая иллюстрацию во «Всемирном путешественнике». «Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними — все чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле нее в райской тишине сонного послепоуденного часа. Какие яркие и сладкие видения и какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками!»

Тоска по оставленному раю — глубинный мотив пристального интереса писателя к Востоку: там искал он сокровенный исток жизни.

В рассказе «Город царя царей» Бунин подробно излагает легенду о Цейлоне-рае, о грехопадении Адама и Евы, уходе Каина с острова, возвращении его и убийстве Авеля, чтобы владеть раем нераздельно и вечно. Райское существование человека разрушено, ци-

вилизатор Каин пролил невинную кровь, Вавилон торжествует над Раем. Миф стал формой осмысления истории. Историческую аналогию мифу Бунин находил во вторжении на Цейлон суриев-арийцев и завоевании ими аборигенов, лучников.

В другом цейлонском рассказе, «Братья», тема Авеля и Каина, природы и цивилизации, Рая и Вавилона воплощена в образах англичанина и его возницы — сингалеза. Англичанин с мертвым бескровным лицом и рикша, которого он погоняет палкой, — братья по древнему истоку своего рождения. Англичанин не прямой виновник гибели рикши: убивает тот мир, который основал его пращур, Каин. Увидев в окне публичного дома для белых свою невесту, потомок Авеля, сингалез, обрывает свою жизнь. Личного конфликта в рассказе нет — слишком велика власть рока: грехопадение, братоубийство извечно и неоскупило.

Бунин намеревался написать большое произведение о возвращении Каина-европейца на родину, в оставленный рай, на Цейлон. Можно предположить, что это был романтический замысел: приобщение героя к сокровенному истоку жизни, его изменение, избавление от европейской гордыни и чувства превосходства перед младенчески непосредственной жизнью. Замысел не был осуществлен, остались два фрагмента: «Отто Штейн» и «Город царя царей». Отзвук этой темы можно найти и в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Американец прибывает из Нового Света на Капри, его маршрут намечен далее на Восток: Индия, Египет. Некоторые детали сообщают Капри черты Рая. После смерти героя не могут достать гроб, покойника отправляют в ящике для содовой воды. На этом острове словно не бывает смерти, коренные жители не умирают. Смерть — каинов удел, удел алчного, забывшего все Вавилона-цивилизации, воплощенного в образе огромного корабля «Атлантида».

Красноречив и эпиграф (снятый в последней редакции): «Горе тебе, Вавилон, город

крепкий!». Апокалиптические интонации рассказа вызывают в памяти и платоновский миф об Атлантиде, огромном острове в Атлантическом океане к западу от Гибралтарского пролива (со скал Гибралтара Дьявол следит за кораблем), ушедшем на дно океана в результате землетрясения. Вспоминается и трагическая гибель «Титаника» в 1912 г. (не исключена ассоциативная связь: Атлантитан в обличительном бунинском контексте — «гордыни Нового человека со старым сердцем»). Сверхсовременный суперлайнер, как тогда казалось, просто лишенный возможности потонуть, ушел на дно Атлантического океана, столкнувшись с огромным айсбергом.

Алчность — главный мотив в устремлениях американцев, как, впрочем, и всех других обитателей «Атлантиды». В этом значении «Господин из Сан-Франциско» как бы вырастает из буддийской притчи рассказа «Братья». Усиливая апокалиптическое настроение в финале этого рассказа, Бунин вкладывает в уста англичанина довольно мрачную историю, источником которой послужила книга С. Ф. Ольденбурга «Буддийские легенды». «...Ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны — и ворон, томимый «желанием», пал за ним и, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата, — и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть...» Из зерна этой притчи вырос «Господин из Сан-Франциско»: ворон-пожиратель превратился в гигантскую «Атлантиду».

Первое братоубийство — ступень к Вавилону — Бунин понимал очень широко, это также ключевая мифологема всего его творчества. Концепция национального характера выдвинулась писателю как столкновение двух начал: кроткого и буйного, доброго и жестокого, как кровное единство господина и раба, губителя и жертвы. Братство у Бунина ветхозаветное, а не евангельское. В рассказе «Весенний вечер» пьяный мужик в шинке убивает и грабит нищего, выпрашивающего милостыню старика. Убивает в конечном счете не из корысти (деньги он бросает), а потому, что древняя сила извечного каинова родства («Отдай добром, — брат, родной...» — умоляет нищего мужик) оказывается, как всегда у Бунина, сильнее разума. И гражданскую войну Бунин видел сквозь призму библейского мифа. Книгу публицистики о том времени он назвал «Окаянные дни». То есть дни Каина, «окаинившиеся» дни братоубийства.

Рай — не только тема и символ в творчестве Бунина, но и образ его мировидения, тип его отношения к миру. Бунин не слышал и не принимал идеологически чужого слова. Упорно стремление писателя остаться Адамом в лирическом раю, где все вещи именуются как бы впервые.

Бунин ненавидел Достоевского, ему нечего было любить в его мире, где длярая не осталось ни малейшего места. Как заметил М. Бахтин, рай до грехопадения — образ русской литературы до Достоевского: «Все герои русской литературы до Достоевского от древа познания добра и зла не вкушали». Бунин в этом смысле — последний, завершитель «райской», лирической традиции в русской литературе.

Евгений Конюшенко

И. А. Бунин

ОКАЯННЫЕ ДНИ*

Одесса, 1919 г.

19 Апреля**

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя разсеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качала. Цена дикая — 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс — кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь «народное достояние». Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочек земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик — и вот оказывается, что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то «трудящиеся». Повесть можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том; что Макензен уже в Черновцах, и даже «о падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища, еще не залитые потоком грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности, восток, древность, скитания — и Единый, перед Коем можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понимающем реве.

* И. А. Бунин. Окаянные дни. «Петрополис». Берлин. 1935. Фрагменты из книги с орфографией автора.

** По старому стилю.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, — там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, благодетели русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васильковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слезил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервозности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, — все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками.

«Ах, мщения, мщения!», — как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: «Ужели Господь попустит, и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе — наше поражение!»

Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую

так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлаго», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними,— и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

— Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!?

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

Как мы ввали друг другу, что наши «чудобогатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «из нас, как из древа,— и дубина, и икона»,— в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емельян Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из за чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ,— если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств,— и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не заме-

чали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было в сущности все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: — «что-ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, ввали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: «Да чорт... Чортом представляется, козлекает...»)

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно ввали об его патристическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам безпечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего безпечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задерживая лапти, с полной безбедностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колючку!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелем... Мы канонизировали человечество... канонизировали революции... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Нет, отрезвление еще далеко.

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все — и литература особенно — выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервнует хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гении Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния.» В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

Ночь на 24 Апреля.

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллион-

ная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, безпричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое существо.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В Европейскую, — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей безтолковости и горячке имитация какого-то будто-бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только ни кричал, ни командировал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях в накидку, неработающими рабочими, гуляющей прислужой и всякими ярдами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сладями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были гор-

бы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых однако никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заключены в гробы почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным

легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому неведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее досчатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к чорту Россию и жить по собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, — на банкете в честь финнов после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всем возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал еще лучше прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уже перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того, ни с сего заорали и себе, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритаго моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Много! Много! Много!

И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал — в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пир

были только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прозорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великопечно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великопечнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к чорту Финляндии!

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна: даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настезь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование...

«Разочарования, говорит Герцен, мир не знал до великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире.

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темная с желтоватыми щелями тучи на

западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он-же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубаше на выпуск и в жилетке, из карманчика которой торчат пузырьки с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо! Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был я вчера в городе. Прежде, бывало, едешь, на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Ни почем нету. Приказчик говорит, — «хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидев меня, с размаху откидывается назад и оставливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во первых, молчу, а во вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто-ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?

— А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону.» Хорош ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету.— Погоди, погоди,— обращается он к караульщику,— и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу — дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

— Ну, и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что-ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:

— Да, известно орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем *кандрак* составлять, будем *осуждать*, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должон теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я от роду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся — драк на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кин-

жал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованьем в этой думе!

— Да то то и дело, говорю я, что жалованье-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

— Ну вот, кому-же, как не тебе и быть там? Ты хозяин.

Подумав и оживляясь все более:

— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей чорт его несет отымать самохвотом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и имени-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня «моряк» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет,—какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысяча номеров через мои руки прошло, а все таки прямо скажу: какой он чорт министр хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол

может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся и пролезть он там может куда угодно...

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангельское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай).

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно ассиметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атактистических особей, круто замешанных на монгольском атактизме! Весь, Муром, Чудь белоглазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей *антисоциальностью*, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской *социальной* революции. Что ж удивляться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм.» Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все *старо* на Руси и сколь она жаждет прежде всего *безформенности*. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд

и свар. Русь классическая страна *буяна*. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с *буяном*, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые антисоциальных инстинктов». Но совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, *антисоциальность*.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нея резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает и любимое ее чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, безсердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнения тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален...» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нея бывшая — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, — послушать «то, что думал Степан.» Странное изумление! Степан не мог думать о социальном. Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстает новая *доуголетная* борьба.

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячем напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик: «всем, всем, всем!» — крик о том, что Корнилов — «мятежник, предатель революции и родины...»

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать серебряников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеския и человеческия пали — победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадованными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обезчещенная, разстрелянная и уже покорная, принимала будничныи вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то ласкудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шею жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение:

— Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...

Сколько стояло тогда в этих церквах людей прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютаго горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями...

СТИХОТВОРЕНИЯ И. А. БУНИНА, НЕ ВХОДИВШИЕ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

* * *

Жгли на кострах за пап и за чертей,
Живьем бросали в олово и в серу
За ад и рай, безверие и веру,
За исчисленье солнечных путей.

И что ж! Чертей не пламя утешает,
Не то, что злей ехидны человек,
А то, что гроб, сожженный в прошлый век,
Он в нынешнем цветами украшает.

2.VII.07

* * *

Снег дымился в раскрытой могиле,
Белой вьюгой несло по плечам,
Гроб в дымящийся снег опустили,
Полотенца пошли копачам,

И сугроб над могилою вырос,
И погост опустел — и гремел
В полумраке невидимый клирос
О тщете всех желаний и дел,

О великой, о белой, о древней,
О безлюдной пустыне, и в высь
Улетал над стемневшей деревней,
И огни загорались, зажглись,

И собаки попрятались в сенцы,
И в сторожке, за штофом, в дыму,
Копачи, поделив полотенца,
Аллилуйю кричали — Ему.

<7 июля 1916>

* * *

На всякой высоте прельщает сатана.
Вот все внизу, все царства мира —
И я преображен. Душе моей дана
Как бы незримая порфира.

Не я ли царь и бог? Не мне ли честь и дань?
Каким великим кругозором
Синеет даль окрест! И где меж ними грань—
Горой Соблазна и Фавором?

<Июнь—июль 1916>

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ

Возьмет господь у вас
Всю вашу мощь, отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших
Художников и искушенных в слове.
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети ваши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред господом, и выражение лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех.— Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

<1918>

ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...

Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?

Гляжу вперед на черное распяты
Среди дорог —

И простирает скорбные объятья
Почивший бог.

Бретань, 1920

С. П. Мельгунов

КРАСНЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ*

◆ ЦИНИЗМ В КАЗНИ ◆ ИСТЯЗАНИЯ И ПЫТКИ
◆ РАЗНУЗДАННОСТЬ ПАЛАЧЕЙ ◆ СМЕРТНИКИ
◆ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ЖЕНЩИНАМИ ◆

Открывая широкий простор для произвола вовне, творцы «красного террора» безграничный простор установили внутри самих чрезвычайных комиссий.

Если мы проглядим хотя бы официальные заметки, сопровождающие изредка опубликование списков расстрелянных, то перед нами откроется незабываемая картина человеческого произвола над жизнью себе подобных. Людей официально убивали, а иногда не знали, за что, да, пожалуй, и кого: «расстреляли, а имя, отчество и фамилия не установлены...»

В своем интервью в «Новой жизни» 8-го июня 1918 г. Дзержинский и Закс так охарактеризовали приемы деятельности чрезвычайных комиссий:

«Напрасно нас обвиняют в анонимных убийствах,— комиссия состоит из 18 испытанных революционеров, представителей Ц.К. партии и представителей Ц.И.К.

Казнь возможна лишь по *единогласному* постановлению всех членов комиссии в пол-

ном составе. Достаточно одному высказаться против расстрела, и жизнь обвиняемого спасена.

Наша сила в том, что мы не знаем ни брата, ни свата, и к товарищам, уличенным в преступных деяниях, относимся с сугубой суровостью. Поэтому наша личная репутация должна быть вне подозрения.

Мы судим быстро. В большинстве случаев от поимки преступника до постановления проходят сутки или несколько суток, но это однако не значит, что приговоры наши не обоснованы. Конечно, и мы можем ошибаться, но до сих пор ошибок не было и тому доказательство — наши протоколы. Почти во всех случаях преступники, припертые к стене уликами, сознаются в преступлении, а какой же аргумент имеет больший вес, чем собственное признание обвиняемого».

На замечание интервьюировавшего сотрудника «Новой жизни» о слухах относительно насилий, допускаемых при допросах, Закс заявил:

«Все слухи и сведения о насилиях, применяемых будто бы при допросах, абсолютно ложны. Мы сами боремся с теми элементами в нашей среде, которые оказываются недостойными участия в работах комиссии».

Это интервью лживо от первого до последнего слова, оно лживо и по отношению к тому времени, о котором говорили оба тогдашних руководителя.

* Мельгунов С. П. Красный террор в России. М.: СП «РВИСО», Р. S., 1990. Главы из книги. Печатаются по тексту 2-го издания 1924 г. (с сохранением орфографии и пунктуации).

Из-за экономии места мы не приводим многочисленные ссылки на документы. Заинтересованный читатель сможет найти их в полном тексте книги.

ЦИНИЗМ В КАЗНИ

18 человек в Ч.К. решают вопросы о смерти! Нет, решают двое-трое, а иногда и один.

Смертный приговор имел право выносить фактически даже народный судья. По этому поводу между двумя подведомственными учреждениями в 1919 г. произошла даже своего рода коллизия. 20-го июня в киевских «Известиях» (№ 70) была опубликована следующая заметка:

«На запросы из уездов киевский губернский юридический отдел разъясняет, что народные суды ни в коем случае не могут выносить смертных приговоров. Смертная казнь, как нормальная мера наказания, не предусмотрена ни одним декретом и идет в разрез с социалистическим правосознанием. В данное же переходное время смертная казнь применяется революционными трибуналами и административными органами, *исключительно, как орудие классовой борьбы*».

Но через несколько дней мы могли прочесть уже почти противоположное:

«В виду запросов с мест о возможности применения Народными судами смертной казни Верховный судебный контроль разъяснил, что в настоящее время при наличности массовых попыток контр-революции подорвать всякими способами Советскую власть, право применения смертных приговоров сохраняется и за Народными судами».

«Мы судим быстро...» Может быть, так бывало в дни массовых расстрелов, может быть, эта быстрота в вынесении приговоров отличительная черта производства Ч.К., но... бывает и другое. Длится месяцы без допросов, годы тянется производство дел и заканчивается... все же расстрелом.

«Нас обвиняют в анонимных убийствах...» В действительности, как мы говорили, огромное большинство расстрелов вовсе не публикуется, хотя 5-го сентября 1918., в разгар террора в советской России, советом народных комиссаров было издано постановление о необходимости «опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры». Образчиком выполнения этого распоряжения могут служить

публикации, появлявшиеся в специальном «Еженедельнике» Ч.К., т. е. в органе, задача которого состояла в руководстве и объединении деятельности чрезвычайных комиссий. Мы найдем здесь поучительную иллюстрацию.

В № 6 этого «Еженедельника» (26-го октября) опубликован был через полтора месяца список расстрелянных за покушение с.-р. Каплан на Ленина. Было расстреляно несколько сот человек, фамилий опубликовано было лишь 90. Из этих 90 расстрелянных 67 фамилий опубликованы без имен и отчеств; 2 с заглавными буквами имен, 18 с обозначением приблизительного звания, например: Котомазов, бывший студент, Муратов — служащий в кооперативном учреждении, Разумовский — бывший полковник, и т. д. И только при 10 были обозначения, объясняющие причины расстрела: «явный контр-революционер», «белогвардеец», «бывший министр внутр. дел, контр-рев. Хвостов», «протоиерей Восторгов». И читатель сам должен был догадываться, что под «Маклаковым» расстрелян бывший министр внутренних дел. О последнем нетрудно было догадаться, но кто такие разные Жичковские, Ивановы, Зелинские — этого никто не знал и, быть может, никогда не узнает.

Если так исполнялось распоряжение центральной власти центральным органом, то нетрудно себе представить, что делалось в глухой провинции, где террор подчас принимал исключительно зверский характер. Здесь сообщения (когда они были) о расстрелах еще глуше: напр., расстреляно «39 видных помещиков (?)», арестованных по делу контр-революционного общества «Защита временного правительства» (Смоленская обл. Ч.К.); расстреляно 6 человек слуг самодержавия» (Павлопосадская Ч.К.); публикуется несколько фамилий и затем делается прибавка: и еще «столько-то» (Одесса).

Так было и позже, когда окончились «хаотические беспорядки», которые отмечал в В.Ч.К. никто иной, как известный чекист Морозов и в том же официальном органе (№ 6).

Убийства совершались в полном смысле слова анонимно. «Коллегия», выносящая при-

говор, даже никогда не видит в лицо обреченного ею на казнь, никогда не слышит его объяснений. Мы же за малым исключением не знаем и имен убийц, так как состав судей в Ч.К. не публикуется. Расстрелы без опубликования имен получают в Ч.К. даже технический термин: «Расстреливать в глухую» (Одесса). Какое же моральное бесстыдство надо иметь, чтобы дать ответ, подобный тому, который дал Чичерин корреспонденту «Чикаго Трибюн» на вопрос его о числе расстрелянных «по приказу тайных трибуналов» и о судьбе семьи императора Николая II. Комиссар иностранных дел ответил: «Тайных трибуналов в России не существует. Что касается казенных по приказу Че-Ка — то *число их было опубликовано* (!!!). Судьба дочерей царя — добавил Чичерин — мне неизвестна. Я читал в газетах (?!), будто они находятся в Америке...» (!!).

«Собственное признание обвиняемого»... Сколько раз даже я лично наблюдал факты такого рода признаний под влиянием утрашений, угроз, под дулом револьвера! Сколько таких заявлений есть со стороны побывавших в стенах Ч.К.!

Все слухи о насилиях «абсолютно ложны»... Мы увидим, что скорее надо признать, что истязания и пытки, самые настоящие пытки, процветают в чрезвычайных комиссиях и не только где-нибудь в глухой провинции.

Да, человеческая жизнь мало стоит в советской России. Ярко это обрисовал уполномоченный Москвы в Кунгурской Ч.К. Гольдин: «Для расстрела нам не нужно доказательств, ни допросов, ни подозрений. Мы находим нужным и расстреливаем, вот и всё». И это действительно всё! Можно ли лучше охарактеризовать принцип деятельности чрезвычайных комиссий?..

В Ч.К. ведутся протоколы постановлений о расстрелах. Но неужели достаточными считает Держинский такие протоколы, какие велись, напр. в 1919 году в столичном граде Киеве? Мы опубликовывали в № 4 «На чужой стороне» образцы этих поистине изумительных протоколов Киевской Губернской Чрезвычайной Комиссии и Всеукраинской, во главе которой стоял Лацис, истинный творец

и осуществитель красного террора на Украине. Протоколы эти с подлинными подписями и печатями, сохранившиеся в архиве Деникинской комиссии, заслуживают быть сфотографированными. В одно заседание Губернская Ч.К. ухитрилась рассмотреть 59 дел. О, смертные приговоры выносились легко! 19 мая 1919 г. Комиссия, помимо всякого рода очередных и хозяйственных дел, рассмотрела 40 личных дел и вынесла 25 смертных приговоров. Приговоры по протоколу чрезвычайного обоснованы — нигде даже не указано имена: Рудаков Петр Григорьевич; Вашин Иван Алексеевич; Рыжковский Викентий Романович и т. д. «применить высшую меру наказания и наличные деньги конфисковать». Мы указывали там же, до какого цинизма доходила Всеукраинская Ч.К., и в виде образца приводили журнал ее заседания, где имеется подпись Лациса и нет даже даты, а между тем какой-то несчастный Евгений Токовлов за контр-революционные деяния был приговорен к расстрелу с исполнением этого приговора в 24 часа... Мы указывали и на действительно ужасающую простоту в документах, относящихся к расстрелу в Харьковской Ч.К. Здесь чекисты Португейс и Фельдман расстреливали в 1919 г. уже без всяких протоколов: просто-напросто делали чернильным карандашом лаконические и крайне небрежные надписи: «Баеву, как неисправимую преступницу, расстрелять».

Очевидно, на языке чекистов, презревших старую мораль, как буржуазный предрассудок, описанное относится к категории того, что в Одессе называлось «придать делу юридическую форму» и кончить «в духе расстрела». Такие предписания — утверждает допрашиваемый Деникинской комиссией следователь Одесской Ч.К., бывший студент Новороссийского университета Сигал — постоянно шли от секретаря комиссии. Или предписывалось: повести дело так, чтобы 15 человек «приставить к стенке».

При неряшливом отношении к человеческой жизни расстреливали однофамильцев — иногда по ошибке, иногда именно для того, чтобы не было ошибки. Напр., известен случай, когда в Одессе расстреляли трех врачей:

Волкова, Власова и Воробьева. В Одессе расстрелян некто Озеров. Следователь обнаруживает ошибку и — расстреливается тот Озеров, который подлежал действительному расстрелу. Такой же случай зарегистрирован Авербухом в книге «Одесская чрезвычайка».

Получен был донос о контр-революционной деятельности некоего Арона Хусида, без точного указания его местожительства. В тот же день, согласно справкам адресного стола по предписанию следователя Сигала арестовано было 11 человек, носящих фамилии Хусид. И после двухнедельного следствия над ними и различных пыток, несмотря на то, что обвинялось одно лицо, казнены были два однофамильца Хусид, так как следствие не могло точно установить, кто настоящий контр-революционер. Таким образом, второй казнен был так себе, на всякий случай...

Авторитетный свидетель, которого нельзя заподозрить в сознательном искажении действительности, утверждает, что в Одессе был расстрелян тов. прокурора Н. С. Баранов вместо офицера с таким же именем; этот свидетель присутствовал в камере, когда требовали на расстрел: «Выводцев Алексей»; был в камере другой Выводцев К. М., получил ответ: «Имя неважно, а нужен именно этот Выводцев». Один из интеллигентных свидетелей Деникинской комиссии, агроном, говорит о том, как в той же Одессе расстрелян был крестьянин Яков Хромой из деревни Явкино — его смешали с крестьянином той же деревни Яковом, *кривым* на ногу.

Сколько людей бывало в таком же положении и, быть может, случайно спасалось в самый последний момент. Немало почти аналогичных фактов я лично знаю из деятельности московских розыскных органов. Свои личные наблюдения я в значительной степени оставляю пока в стороне — они войдут в готовящиеся ко печати воспоминания. Такие факты имеются и в «Белой Книге», и в сборнике Че-Ка.

...Сколько случаев расстрела по ошибке! Появляется даже особая категория «ошибочников», на жаргоне чекистов. В Москве в 1918 г. была открыта какая-то офицерская организация «левшинцев». После этого аресто-

ваны были все офицеры, жившие в Левшинском переулке. Они сидели в Бутырской тюрьме с арестованными по делу Локкарта. Из 28 сидевших остались в живых только шесть. В провинции было еще хуже. Вот выписка из документа: «в г. Бронницах (под Москвой) комиссарами расстреливались прямо все, чья физиономия им не нравилась. Исполком Совдепа на самом деле не заседал даже, а кто-нибудь из его членов говорил: «мы постановили и тут уже ничего сделать было нельзя». Брали двух конвойных, арестованного, давали ему лопату и вели во двор Бронницкого манежа, там заставляли рыть себе могилу, затем расстреливали и «закапывали».

Стоит ли вновь удивляться всему этому, если сам Лацис в своих статьях свидетельствует, что расстрел применялся на всякий случай — в целях воздействия на обывателей: «произвести должный эффект», «отбить всякую охоту саботировать и заговоры устраивать». В Ярославле заложников расстреливают вперед, так как готовится «кулацкое восстание».

«Большевики утверждали, что для предотвращения заранее всяких контр-революционных движений в городе (Екатеринбурге) надо было таким способом терроризировать население» — пишет Эльстон Керзону 11-го февраля 1919 г.

Самое все-таки неприемлемое остается расстрел заложников из членов семьи; нельзя морально примириться с сообщением, что в Елисаветграде (май 1920 г.) расстреляна семья из 4 девочек 3—7 лет и старухи матери 63 лет за сына офицера...

Почему «контр-революционер» расстреливался в то или иное время? Это также непонятно. Царские министры расстреливались осенью 1918 г. Был когда-то царским министром внутренних дел Булыгин. Он остался жив в 1918 г., но его почему-то Чека судила 5-го сентября 1919 г. Судили за реакционную политику в 1905 г. Постановлено: «гр. Булыгина расстрелять, имущество, принадлежащее гр. Булыгину, конфисковать и передать в распоряжение исполкома для передачи рабо-

чим государственного завода». Не такие ли протоколы Дзержинский считал обоснованными в своем интервью?

ИСТЯЗАНИЯ И ПЫТКИ

Если вспомнить все уже сказанное, едва ли явится сомнение в том, что в застенках чрезвычайных комиссий не только могли, но и должны были существовать пытки в полном смысле этого слова. Едва ли было хоть какое-нибудь преувеличение в обращении к общественному мнению Европы Исполнительного Комитета членов бывшего Учредительного Собрания в Париже (27-го октября 1921 г.), протестовавшего против вакханалии политических убийств в России и применения насилия и пыток. Трудно бывает иногда даже разграничить пытку моральную от пытки физической, ибо то и другое подчас сплетается. В сущности длительной своего рода пыткой являются сами по себе условия содержания в большевистской тюрьме.

Все, что мы знаем о старых русских тюрьмах, о «русской Бастилии», как звалась обычно, напр., Шлиссельбургская крепость,—все это бледнеет перед тюрьмами и режимом, установленным коммунистической властью в некоторых местах заключения. Разве не пыткой почти физической является содержание в таких тюрьмах, иногда месяцами без допроса, без предъявления обвинения, под постоянной угрозой расстрела, которая в конце концов и осуществляется. Возрождением пыток назвал П. А. Кропоткин в таких условиях институт заложников. Но этими заложниками фактически являлись и являются все вообще : заключенные в тюрьмах.

Когда я был в заключении в Бутырской тюрьме, я встретился здесь с московским доктором Мудровым. Я не знаю, в чем он обвинялся. Но, очевидно, никаких значительных реальных обвинений ему не было предъявлено. Он был переведен из тюрьмы Чека в общую тюрьму и здесь находился уже несколько месяцев. Он обжился как бы в тюрьме, и тюремная администрация с разрешения следователя при отсутствии необходимого в тюрьме медицинского персонала

привлекала Мудрова к выполнению обязанностей тюремного врача. В тюрьме была тифозная эпидемия, и доктор Мудров самоотверженно работал как врач. Его больше не вызывали на допросы. Можно было думать, что дело его будет ликвидировано, во всяком случае, ясно было, что прошла уже его острота. Однажды, во время исполнения Мудровым своих врачебных обязанностей, его вызвали на допрос в Чека. Он оттуда не вернулся, и мы узнали через несколько дней, что он расстрелян. Казалось, не было повода для такой бессмысленной жестокости. За что был расстрелян доктор Мудров—этого так никто и не узнал. В официальной публикации о нем 17-го октября в «Известиях» было сказано лишь то, что он «бывший член кадетской партии».

Я помню другую встречу, быть может, произведшую на меня еще большее впечатление. Это было уже летом 1922 г. Я был арестован в качестве свидетеля по делу социалистов-революционеров. Однажды меня вызвали из камеры в суд. Вели меня с каким-то пожилым изнуренным человеком. По дороге мне удалось перекинуться с ним двумя-тремя словами. Оказалось, что это был полковник Перхуров, участник восстания против большевиков, организованного Савинковым в Ярославле в 1918 г. Перхуров сидел в тюрьме Особого Отдела В.Ч.К.,—полуголодный, без книг, без свиданий, без прогулок, которые *запрещены* в этой якобы следственной тюрьме. Забыли ли его, или только придерживали на всякий случай—не знаю. Вели его на суд также, как свидетеля, но... на суде он превратился вновь в обвиняемого. Его перевели в Ярославль и там через месяц, как прочел я в официальных газетных извещениях, он был расстрелян. Один офицер просидел полтора года в этой ужасной по обстановке тюрьме Особого Отдела и, быть может, еженощно ждал своего расстрела.

Я взял лишь два примера, которые прошли перед моими глазами! А таких сотни! И, если это совершалось в центре и в дни, когда анархия начала большевистского властвования сменилась уже определенно установленным порядком, то что же делалось где-ни-

будь в отдаленной провинции? Тут произвол царил в ужасающих формах. Жить годами в ожидании расстрела — это уже не физическая пытка. Такой же пыткой является и фиктивный расстрел, столь часто и повсеместно применяемый следователями Ч.К. в целях воздействия и получения показаний. Много таких рассказов зарегистрировал я в течение своего пребывания в Бутырской тюрьме. У меня не было оснований не верить этим повествованиям о вынесенных переживаниях — так непосредственны были эти впечатления. Такой пытке подвергались, напр., некоторые подсудимые в деле петербургских кооператоров, рассматривавшемся осенью 1920 г. в Москве в Верховно-Революционном Трибунале. Следствие шло в Петербурге. Одного из подсудимых несколько раз водили ночью на расстрел, заставляли раздеваться догола на морозе, присутствовать при реальном расстреле других — и в последний момент его вновь уводили в камеру для того, чтобы через несколько дней вновь прорепетировать с ним эту кошмарную сцену. Люди теряли самообладание и готовы были все подтвердить, даже несуществовавшее, лишь бы не подвергаться пережитому. Присужденный к расстрелу по делу Локкарта американец Калматьяно в Бутырской тюрьме рассказывал мне и В. А. Мякотину, как его, и его сопросессника Фриде, дважды водили на расстрел, объявляя при этом, что ведут на расстрел. Калматьяно осужден был в 1918 г., и только 10-го мая 1922 г. ему сообщили, что приговор отменен. Все это время он оставался под угрозой расстрела.

Находившаяся одновременно со мной в тюрьме русская писательница О. Е. Колбасина в своих воспоминаниях передает о таких же переживаниях, рассказанных ей одной из заключенных. Это было в Москве, во Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, т. е. в самом центре. Обвиняли одну женщину в том, что она какого-то офицера спасла, дав взятку в 100 тыс. рублей. Передаем ее рассказ так, как он занесен в воспоминания Колбасиной. На расстрел водили в подвал. Здесь «несколько трупов лежало в нижнем белье. Сколько, не помню. Женщину одну

хорошо видела и мужчину в носках. Оба лежали ничком. Стреляют в затылок... Ноги скользят по крови... Я не хотела раздеваться — пусть сами берут, что хотят. «Раздевайся!» — гипноз какой-то. Руки сами собой машинально поднимаются, как автомат растегиваешься... сняла шубу. Платье начала растегивать... И слышу голос, как будто издадека — как сквозь вату: «на колени». Меня толкнули на трупы. Кучкой они лежали. И один шевелится еще и хрипит. И вдруг опять кто-то кричит слабо-слабо, издадека откуда-то: «вставай живее» — и кто-то рванул меня за руку. Передо мной стоял Романовский (известный следователь) и улыбался. Вы знаете его лицо — гнусное и хитрую злорадную улыбку.

— Что, Екатерина Петровна (он всегда по отчеству называет), испугались немного? Маленькая встряска нервов? Это ничего. Теперь будете стоворчивее. Правда?» Пытка то или нет, когда мужа расстреливают в присутствии жены? Такой факт рассказывает в своих одесских воспоминаниях Н. Давыдова. «Узнали сегодня, что... баронесса Т-ген не была расстреляна. Убит только муж, и несколько человек с ним. Ей велено было стоять и смотреть, ждать очереди. Когда все были расстреляны, ей объявили помилование. Велели убрать помещение, отмыть кровь. Говорят, у нее волосы побелели».

...«Хоть и редко, но все-таки часть несчастных, подвергавшихся физическим и нравственным мукам, оставалась жива и своими изуродованными членами и седыми, совершенно седыми не от старости, а от страха и мучений волосами лучше всяких слов свидетельствовала о перенесенном. Еще реже, но и это бывало — узнавали о последних муках перед расстрелом и сообщали те, кому удалось избежать смерти».

Так узнали об ужасной пытке над членом Учредительного Собрания Иваном Ивановичем Котовым, которого вытащили на расстрел из трюма барки с переломанной рукой и ногой, с выбитым глазом (расстрелян в 1918 г.).

А вот Екатеринодарская Чека, где в 1920 г. в ходу те же методы воздействия. Доктора Шестакова везут в автомобиле за город на

реку Кубань. Заставляют рыть могилу, идут приготовления к расстрелу и... дается залп холостых выстрелов. То же проделывается несколько раз с неким Корвин-Пиотровским после жестокого избиения. Хуже — ему объявляют, что арестована его жена и десятилетняя дочь. И ночью проделывают перед глазами отца фальшивую инсценировку их расстрела.

Автор статьи в «Че-Ка» дает яркую картину истязаний и пыток в екатеринодарской Ч.К. и в других кубанских застенках.

«Пытки совершаются путем физического и психического воздействия. В Екатеринодаре пытки производятся следующим образом: жертва растягивается на полу застенка. Двое дюжих чекистов тянут за голову, двое за плечи, растягивая таким путем мускулы шеи, по которой в это время пятый чекист бьет тупым железным орудием, чаще всего рукояткой нагана или браунинга. Шея вздувается, изо рта и носа идет кровь. Жертва терпит невероятные страдания...

В одиночке тюрьмы истязали учительницу Домбровскую, вина которой заключалась в том, что у нее при обыске нашли чемодан с офицерскими вещами, оставленными случайно проезжавшим еще при Деникине ее родственником-офицером. В этой вине Домбровская чистосердечно призналась, но чекисты имели донос о сокрытии Домбровской золотых вещей, полученных ею от родственника, какого-то генерала. Этого было достаточно, чтобы подвергнуть ее пытке. Предварительно она была изнасилована и над нею глумились. Изнасилование происходило по старшинству чина. Первым изнасиловал чекист Фридман, затем остальные. После этого подвергли пытке, допытываясь у нее признания, где спрятано золото. Сначала у голый надрезали ножом тело, затем железными щипцами, плоскозубцами отдавливали конечности пальцев. Терпя невероятные муки, обливаясь кровью, несчастная указала какое-то место в сарае дома № 28, по Медведевской улице, где она жила. В 9 часов вечера 6-го ноября она была расстреляна, а часом позже в эту же ночь в указанном ею доме производился чекистами тщательный обыск, и, кажется, действительно

но нашли золотой браслет и несколько золотых колец.

В станции Кавказской при пытке пользуются железной перчаткой. Это массивный кусок железа, надеваемый на правую руку, со вставленными в него мелкими гвоздями. При ударе, кроме сильнейшей боли от массива железа, жертва терпит невероятные мучения от неглубоких ран, оставляемых в теле гвоздями и скоро покрывающихся гноем. Такой пытке, в числе прочих, подвергся гражданин Ион Ефремович Лелявин, от которого чекисты выпытывали будто бы спрятанные им золотые и николаевские деньги. В Армавире при пытке употребляется венчик. Это простой ременный пояс с гайкой и винтом на концах. Ремнем перепоясывается лобная и затылочная часть головы, гайка и винт завинчиваются, ремень сдавливает голову, причиняя ужасные физические страдания. В Пятигорске заведующий оперативным отделом Ч.К. Рикман «порет» допрашиваемых резиновыми плетями: дается по 10—20 ударов. Он же присудил несколько сестер милосердия к наказанию 15 плетей за оказание помощи раненым казакам. В этой же Ч.К. втыкали шпильки под ногти — «система допросов при помощи кулаков, плетей, шомполов» здесь общепринята. Ряд свидетелей удостоверяют о жестоком избиении при допросе адмирала Мягковского в Николаеве (1919 г.). В «Общем Деле» приводятся показания мещанина г. Луганска, как пытали его: здесь и поливание голого ледяной водой, отворачивание плоскозубцами ногтей, поддевание иглами, резание бритвой и т. д. В Симферополе — рассказывает корреспондент той же газеты — в Ч.К. «применяют новый вид пытки, устраивая клизмы из битого стекла и ставя горящие свечи под половые органы». В Царицыне имели обыкновение ставить пытаемого на раскаленную сковороду, там же применяли железные прутья, резину с металлическими наконечниками, «вывертывали руки», «ломали кости».

...В Тюмени также «пытки и порка» резиной. В уральской Ч.К. — как свидетельствует в своем докладе упомянутая уже Фрумкина — допрашивают так: «Медера привели в сарай, поставили на колени к стене и стреляли то

справа, то слева. Гольдин (следователь) говорил: «если не выдадите сына, мы вас не расстреляем, а предварительно переломаем вам руки и ноги, а потом прикончим». (Этот несчастный Медер на другой день был расстрелян.) В Новочеркасской тюрьме следователь, всунув в рот дула двух наганов, мушкетами цеплявшихся за зубы, выдергивал их вместе с десной.

Об этих застенках Ч.К. собраны огромные материалы «Особой комиссией» ген. Деникина. Пыткой или нет является та форма казни, которая, как мы уже говорили, была применена в Пятигорске по отношению к ген. Рузскому и другим? «Палачи приказывали своим жертвам становиться на колени и вытягивать шею. Вслед за этим наносились удары шашками. Среди палачей были неумелые, которые не могли нанести смертельного удара с одного взмаха, и тогда заложника ударяли раз по пяти, а то и больше». Рузского рубил «кинжалом» сам Атарбеков — руководитель Ч.К. Другим «рубил» сначала руки и ноги, а потом уже головы».

Приведем описание подвигов коменданта Харьковской Ч.К. Саенко, получившего особенно громкую известность при занятии и эвакуации Харькова большевиками в 1919 г. В руки этого садиста и маньяка были отданы сотни людей. Один из свидетелей рассказывает, что, войдя в камеру (при аресте), он «обратил внимание на перепуганный вид заключенных. На вопрос: «что случилось?» получил ответ: «Был Саенко и увел на допрос Сычева и Белочкина и обещал зайти вечером, чтобы «подбрить» некоторых заключенных». Прошло несколько минут, распахнулась дверь, и вошел молодой человек, лет 19, по фамилии Сычев, поддерживаемый двумя красногвардейцами. Это была тень, а не человек. На вопрос: «что с вами?» кроткий ответ: «меня допрашивал Саенко». Правый глаз Сычева был сплошным кровоподтеком, на правой скуловой кости огромная ссадина, причиненная рукояткой нагана. Недоставало 4 передних зубов, на шее кровоподтеки, на левой лопатке зияла рана с рваными краями; всех кровоподтеков и ссадин на спине было 37». Саенко допрашивал их уже пятый

день. Белочкин с допроса был свезен в больницу, где и умер. Излюбленный способ Саенко: он вонзал кинжал на сантиметр в тело допрашиваемого и затем поворачивал его в ране. Все истязания Саенко производил в кабинете следователя «особого отдела», на глазах Якимовича, его помощников и следователя Любарского».

Дальше тот же очевидец рассказывает о казни нескольких заключенных, учиненной Саенко в тот же вечер. Пьяный или намоканный Саенко явился в 9 час. вечера в камеру в сопровождении австрийского штабс-капитана Ключковского, «он приказал Пшеничному, Овчаренко и Белоусову выйти во двор, там раздел их до нага и начал с товарищем Ключковским рубить и колоть их кинжалами, нанося удары сначала в нижние части тела и постепенно поднимаясь все выше и выше. Окончив казнь, Саенко возвратился в камеру весь окровавленный со словами: «Видите эту кровь? То же получит каждый, кто пойдет против меня и рабоче-крестьянской партии». Затем палач потащил во двор избитого утром Сычева, чтобы тот посмотрел на еще живого Пшеничного, здесь выстрелом из револьвера добил последнего, а Сычева, ударив несколько раз ножами шашки, втолкнул обратно в камеру».

Что испытывали заключенные в подвалах чрезвычайки, говорят надписи на подвальных стенах. Вот некоторые из них: «четыре дня избивали до потери сознания и дали подписать готовый протокол; и подписал, не мог перенести больше мучений». «Перенес около 800 шомполов и был похож на какой-то кусок мяса... расстрелян 28 марта в 7 час. вечера на 23 году жизни». «Комната испытаний». «Входящий сюда, оставь надежды».

Живые свидетели подтвердили ужасы этой «комнаты испытаний». Допрос, по описанию этих вышедших из чрезвычайки людей, производился ночью и неизменно сопровождался угрозами расстрела и жестоких побоев, с целью заставить допрашиваемого сознаться в измышленном агентами преступлении. Признание своей вины вымогалось при неуспешности угроз битьем шомполами до потери сознания. Следователи Мирошниченко, быв-

ший парикмахер, и Иесель Манькин, 18-летний юноша, были особенно настойчивы. Первый под дулом револьвера заставил прислугу Канишеву «признать себя виновной в убийстве офицеров», второй, направив браунинг на допрашиваемого, говорил: «от правильного ответа зависит ваша жизнь». Ко всем ужасам с начала апреля «присоединились еще новые душевные пытки»: «казни начали приводить в исполнение почти что на глазах узников; в камеры явственно доносились выстрелы из надворного чулана-кухни, обращенного в место казни и истязаний...

...Многое рассказанное свидетелями в показаниях, данных Деникинской Комиссии, подтверждается из источников как бы из другого лагеря, лагеря враждебного белой армии. Возьмем хотя бы Харьков и подвиги Саенко. Левый соц.-рев., заключенный в то время в тюрьму, рассказывает: «По мере приближения Деникина, все больше увеличивалась кровавая истерика чрезвычайки. Она в это время выдвинула своего героя. Этим героем был знаменитый в Харькове комендант чрезвычайки. Саенко. Он был в сущности мелкой сошкой — комендантом Чека, но в эти дни паники жизнь заключенных в Ч.К. и в тюрьме находилась почти исключительно в его власти. Каждый день к вечеру приезжал к тюрьме его автомобиль, каждый день хватили несколько человек и увозили. Обыкновенно всех приговоренных Саенко расстреливал собственноручно. Одного, лежавшего в тифу приговоренного, он застрелил на тюремном дворе. Маленького роста, с блестящими белками и подергивающимся лицом маньяка, бежал Саенко по тюрьме с маузером со взведенным курком в дрожащей руке. Раньше он приезжал за приговоренными. В последние два дня он сам выбирал свои жертвы среди арестованных, прогоняя их по двору своей шашкой, ударяя плашмя.

В последний день нашего пребывания в Харьковской тюрьме звуки залпов и одиночных выстрелов оглашали притихшую тюрьму. И так весь день. В этот день было расстреляно 120 человек на заднем дворике нашей тюрьмы». Таков рассказ одного из за-

куированных. Это были лишь отдельные «счастливыцы» — всего 20—30 человек. И там же его товарищ описывает эту жестокую сортировку перед сдачей города «в течение трех кошмарных часов». «Мы ждали в конторе и наблюдали кошмарное зрелище, как торопливо вершился суд над заключенными. Из кабинета, примыкающего к конторе, выбегал хлыщеватый молодой человек, выкрикивал фамилию и конвой отправлялся в указанную камеру. Воображение рисовало жуткую картину. В десятках камер лежат на убогих койках живые люди».

«И в ночной тиши, прорезываемой звуками канонады под городом и отдельными револьверными выстрелами на дворе тюрьмы, в мерзком закоулке, где падает один убитый за другим — в ночной тиши двухтысячное население тюрьмы мечется в страшном ожидании.

Раскроются двери коридора, прозвучат тяжелые шаги, удар прикладов в пол, звон замка. Кто-то светит фонарем и корявым пальцем ищет в списке фамилию. И люди, лежащие на койках, бьются в судорожном припадке, охватившем мозг и сердце. «Не меня ли?» Затем фамилия названа. У остальных отливает медленно, медленно от сердца, оно стучит ровнее: «Не меня, не сейчас!»

Названный торопливо одевается, не слушаются одеревеневшие пальцы. А конвойный торопит.

— Скорее поворачивайся, некогда теперь. «...Сколько провели таких за 3 часа. Трудно сказать. Знаю, что много прошло этих полумертвых с потухшими глазами. «Суд» продолжался недолго... Да и какой это был суд: председатель трибунала или секретарь — хлыщеватый фенчмен — заглядывали в список, бросали: «уведите». И человека уводили в другую дверь.

В «Материалах» Деникинской комиссии мы находим яркие, полные ужаса сцены этой систематической разгрузки тюрем. «В первом часу ночи на 9-го июня заключенные лагеря на Чайковской проснулись от выстрелов. Никто не спал, прислушивались к ним, к топоту караульных по коридорам, к шелканью

замков и к тяжелой тянущейся поступи выводимых из камер смертников.»

«Из камеры в камеру переходил Саенко со своими сподвижниками и по списку вызывал обреченных; уже в дальние камеры доносился крик коменданта: «выходи, собирай вещи». Без возражений, без понуждения, машинально вставали и один за другим плелись измученным телом и душой смертники к выходу из камер к ступеням смерти». На месте казни «у края вырытой могилы, люди в одном белье или совсем нагие были поставлены на колени; по очереди к казнимым подходили Саенко, Эдуард, Бондаренко, методично производили в затылок выстрел, черепа дробились на куски, кровь и мозг размазывались вокруг, а тело падало бесшумно на еще теплые тела убиенных. Казни длились более трех часов...» Казнили более 50 человек. Утром весть о расстреле облетела город, и родные и близкие собрались на Чайковскую; «внезапно открылись двери комендатуры и оттуда по мостику направились два плохо одетых мужчины, за ними следом шли с револьверами Саенко и Остапенко. Едва передние перешли на другую сторону рва, как раздался два выстрела и неизвестные рухнули в вырытую у стены тюрьмы яму». Толпу Саенко велел разогнать прикладами, а сам при этом кричал: «не бойтесь, не бойтесь, Саенко доведет красный террор до конца, всех расстреляет».

...Нечто еще более кошмарное рассказывает о Киеве Нилостонский в своей книге «Кровавое похмелье большевизма», составленной, как мы говорили уже, главным образом, на основании данных комиссии Рерберга, которая производила свои расследования немедленно после занятия Киева Добровольческой армией в августе 1919 г.

«В большинстве чрезвычайек большевикам удалось убить заключенных накануне вечером (перед своим уходом). Во время этой человеческой кровавой бани, в ночь на 28 августа 1919 г. на одной бойне губернской чрезвычайки, на Садовой № 5 убито 127 человек. Вследствие большой спешки около 100 чел. были просто пристрелены в саду губернской чрезвычайки, около 70-ти — в

уездной чрезвычайке на Елисаветинской, приблизительно столько же — в «китайской» чрезвычайке; 51 железнодорожник в железнодорожной чрезвычайке и еще некоторое количество в других многочисленных чрезвычайках Киева...»

Сделано это было, во первых, из мести за победоносное наступление Добровольческой армии, во вторых, из нежелания везти арестованных с собой.

В некоторых других чрезвычайках, откуда большевики слишком поспешно бежали, мы нашли живых заключенных, но в каком состоянии! Это были настоящие мертвецы, еле двигающиеся и смотревшие на нас неподвижным, непонимающим взором» (9).

Далее Нилостонский описывает внешний вид одной из Киевских человеческих «бойен» (автор утверждает, что они официально даже назывались «бойнями») в момент ознакомления с ней комиссии.

«...Весь цементный пол большого гаража (дело идет о «бойне» губернской Ч.К.) был залит уже не бежавшей вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими остатками. Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в 10 метров длины. Этот желоб был на всем протяжении доверху наполнен кровью... Рядом с этим местом ужасов в саду того же дома лежали наспех поверхностно зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всех трупов разможены черепа, у многих даже совсем расплющены головы. Вероятно они были убиты посредством разможения головы каким-нибудь блоком. Некоторые были совсем без головы, но головы не отрубались, а... отрывались... Опознать можно было только немногих по особым приметам, как-то: золотым зубам, которые «большевики» в данном случае не успели вырвать. Все трупы были совсем голы.

В обычное время трупы скоро после бойни вывозились на фурах и грузовиках за город и там зарывались. Около упомянутой могилы мы натолкнулись в углу сада на другую более старую могилу, в которой было приблизительно 80 трупов. Здесь мы обнаружили на телах разнообразнейшие повреждения и изуродования, какие трудно себе представить. Тут лежали трупы с распоротыми животами, у других не было членов, некоторые были вообще совершенно изрублены. У некоторых были выколоты глаза и в то же время их головы, лица, шеи и туловища были покрыты колотыми ранами. Далее мы нашли труп с вбитым в грудь клином. У нескольких не было языков. В одном углу могилы мы нашли некоторое количество только рук и ног. В стороне от могилы у забора сада мы нашли несколько трупов, на которых не было следов насильственной смерти. Когда через несколько дней их вскрыли врачи, то оказалось, что их рты, дыхательные и глотательные пути были заполнены землей. Следовательно, несчастные были погребены заживо и, стараясь дышать, глотали землю. В этой могиле лежали люди разных возрастов и полов. Тут были старики, мужчины, женщины и дети. Одна женщина была связана веревкой со своей дочкой, девочкой лет восьми. У обеих были огнестрельные раны».

...Каждая местность в первый период гражданской войны имела свои специфические черты в сфере проявления человеческого зверства.

В Воронеже пытаемых сажали голыми в бочки, утыканные гвоздями, и катали. На лбу выжигали пятиугольную звезду; священникам надевали на голову венок из колючей проволоки.

В Царицыне и Камышине — пилили кости. В Полтаве и Кременчуге всех священников сажали на кол. «В Полтаве, где царил «Гришка-проститутка», в один день посадили на кол 18 монахов». «Жители утверждали, что здесь (на обгорелых столбах) Гришка-проститутка сжигал особенно бунтовавших крестьян, а сам... сидя на стуле, потешался зрелищем».

В Екатеринославле предпочитали и распятие и побивание камнями. В Одессе офице-

ров истязали, привязывая цепями к доскам, медленно вставляя в топку и жаря, других разрывали пополам колесами лебедок, третьих опускали по очереди в котел с кипятком и в море, а потом бросали в топку.

Формы издевательств и пыток неисчислимы. В Киеве жертву клали в ящик с разлагающимися трупами, над ней стреляли, потом объявляли, что похоронят в ящике заживо. Ящик зарывали, через полчаса снова открывали и... тогда производили допрос. И так делали несколько раз подряд. Удивительно ли, что люди действительно сходили с ума.

О запирании в подвал с трупами говорит и отчет киевских сестер милосердия. О том же рассказывает одна из потерпевших гражданок Латвии, находившаяся в 1920 г. в заключении в Москве в Особом Отделе и обвинявшаяся в шпионаже. Она утверждает, что ее били нагайкой и железным предметом по ногтям пальцев, зажимали на голову железный обруч. Наконец, ее втолкнули в погреб! Здесь — говорит рассказчица — «при слабом электрическом освещении я заметила, что нахожусь среди трупов, среди которых опознала одну мою знакомую, расстрелянную днем раньше. Везде было забрызгано кровью, которой я испачкалась. Эта картина произвела на меня такое впечатление, что я почувствовала, — в полном смысле слова, что у меня выступает холодный пот... Что дальше со мной было, не помню — пришла в сознание только в своей камере».

Почему разные источники разного происхождения, разных периодов рисуют нам столь однородные сцены? Не служит ли это само по себе доказательством правдоподобия всего рассказанного?

Вот заявление Центрального бюро партии с.р.: «В Керенске палачи чрезвычайно пытаются температурой: жертву ввергают в раскаленную баню, оттуда голой выводят на снег; в Воронежской губ., в селе Алексеевском и др. жертва голой выводится зимой на улицу и обливается холодной водой, превращаясь в ледяной столб... В Армавире применяются «смертные венчики»: голова жертвы на лобной кости опоясывается ремнем, концы которого имеют железные винты и гайку... Гай-

ка завинчивается, сдавливает ремнем голову... В станице Кавказской применяется специально сделанная железная перчатка, надеваемая на руку палача, с небольшими гвоздями». Читатель скажет, что это единичные факты — добавляет в своей работе «Россия после четырех лет революции» С. С. Маслов. К ужасу человечества — нет. Не единичные. Превращение людей в ледяные столбы широко практиковалось в Орловской губ. при изыскании чрезвычайного революционного налога; в Малоархангельском уезде одного торговца (Юшкевича) коммунистический отряд за «невзнос налога посадил на раскаленную плитку печи». По отношению к крестьянам Воронежской губ. (1920) за неполное выполнение «продразверстки» употребляли такие приемы воздействия: спускали в глубокие колодцы и по многу раз окунали в воду, вытаскивали наверх и предъявляли требования о выполнении продразверстки полностью. Автор брал свои данные не из источников «контр-революционных», автор цитирует показания не каких-либо реставраторов и идеологов старого режима, а показания, собранные им в период тюремного сидения, показания потерпевших, свидетельства очевидцев — людей демократического и социалистического образа мысли...

...Время течет. На очереди Грузия — страна, где Ч.К. водворяется последней. Осведомленный корреспондент «Дней» так описывает «работу» Ч.К. в Закавказье:

«В глухих, сырых и глубоких подвалах помещения Ч.К. целыми неделями держат арестованного, предназначенного для пытки, без пищи, а часто и без питья. Здесь нет ни кроватей, ни столов, ни стульев. На голой земле, по колено в кровавой грязи, валяются пытаемые, которым ночью приходится выдерживать целые батальи с голодными крысами. Если эта обстановка оказывается недостаточной, чтобы развязать язык заключенного, то его переводят этажом ниже, в совершенно темный подвал. Через короткое время у подвергнутого этой пытке стынет кровь и уже бесчувственного его выносят наверх, приводят в сознание и предлагают выдать товарищей и организации. При вторич-

ном отказе его снова ввергают в подвал и так действуют до тех пор, пока замученный арестованный или умирает, или скажет что-нибудь компрометирующее, хотя бы самого неправдоподобного свойства. Бывает и так, что в подвал в час ночи к арестованному внезапно являются агенты — палачи Че-ка, выводят их на двор и открывают по ним стрельбу, имитируя расстрел. После нескольких выстрелов, живого мертвеца возвращают в подвал. За последнее время в большом ходу смертные венчики, которыми пытали между прочим социал-демократа Какабадзе и вырвали у него согласие стать сотрудником Че-ка. Выпущенный из подвалов на волю, Какабадзе рассказал подробно товарищам обо всем и скрылся».

* * *

Даже в советскую печать проникали сведения о пытках при допросах, особенно в первое время, когда истязания и насилия в «социалистической» тюрьме были слишком непривычны для некоторых по крайней мере членов правящей партии.

«Неужели средневековый застенок?» под таким заголовком поместили, напр. «Известия» письмо одного случайно пострадавшего коммуниста: «Арестован я был случайно, как раз в месте, где, оказалось, фабриковали фальшивые керенки. До допроса я сидел 10 дней и переживал что-то невозможное (речь идет о следственной комиссии Суцего-Маринского района в Москве)... Тут избивали людей до потери сознания, а затем выносили без чувств прямо в погреб или холодильник, где продолжали бить с перерывом по 18 часов в сутки. На меня это так повлияло, что я чуть с ума не сошел». Через два месяца мы узнаем из «Правды», что есть во Владимирской Ч.К. особый «уголок», где «иголками колят пятки».

Опять случайно попался коммунист, который вызывает к обществу: «страшно жить и работать, ибо в такое положение каждому ответственному работнику, особенно в провинции, попасть очень легко». На это дело обратили внимание, потому что здесь был коммунист. Но в тысячах случаев проходят

мимо лишь молчаливо. «Краснею за ваш застенок» — писала Л. Рейснер про петербургскую Ч.К. в декабре 1918 г. Но все это «сентиментальности», и редкие протестующие голоса тонули в общем хоре. Петроградская «Правда» в феврале 1919 года очень красочно описывает пользу приемов допроса путем фиктивного расстрела: в одном селе на кулака наложили 20 пудов чрезвычайного налога. Он не заплатил. Его арестовали — не платит. Его повели на кладбище — не платит. Его поставили к стенке — не платит. Выстрелили над ухом! О чудо! Согласился!

Мы имеем в качестве непреложного исторического свидетельства о пытках изумительный документ, появившийся на столбцах самого московского «Еженедельника Ч.К.». Там была напечатана статья под характерным заголовком: «Почему вы миндальничаете?» «Скажите, — писалось в статье, написанной председателем нолинской Ч.К. и др. — почему вы не подвергли его, этого самого Локкарта самым утонченным пыткам, чтобы получить сведения, адреса, которых такой гусь должен иметь очень много? Скажите, почему вы вместо того, чтобы подвергнуть его таким пыткам, от одного описания которых холод ужаса охватил бы контр-революционеров, скажите, почему вместо этого позволили ему покинуть Ч.К? Довольно миндальничать!.. Пойман опасный прохвост... Извлечь из него все, что можно, и отправить на тот свет!» Это было напечатано в № 3 официального органа, имевшего, как мы говорили, своей целью «руководить» провинциальными чрезвычайными комиссиями и проводить «идеи и методы» борьбы В.Ч.К. Что же удивительного, что на 6 съезде советов представители Ч.К. уже говорят: «теперь признано, что расхлябанность, как и миндальничание и лимонничание с буржуазией и ее прихвостнями, не должны иметь места».

Ч.К. «беспощадна ко всей этой сволочи» — таков лозунг, который идет в провинцию и воспринимается местными деятелями как призыв к беспощадной и безнаказанной жестокости. Тщетны при такой постановке предписания (больше теоретические) юридическим отделам губисполкомов следить за «закон-

ностью». Провинция берет лишь пример с центра. А в центре, в самом подлинном центре, как утверждает одно из английских донесений, пытали Канегиссера, убийцу Урицкого. Пытали ли Каплан, как то усиленно говорили в Москве? Я этого утверждать не могу. Но помню свое впечатление от первой ночи, проведенной в В.Ч.К. после покушения на Ленина: кого-то здесь пытали — пыткой недавняя спать..

Редко проникали и проникают сведения из застенков, где творятся пытки. Я помню в Москве процесс о сейфах, август 1920 г., когда перед Верховным Рев. Трибуналом вскрыта была картина пыток (сажание в лед и др.). Еще ярче эта картина предстала во время одного политического процесса в Туркестане в октябре 1919 г. «Обвиняемые в количестве десяти человек отрекались от сделанных ими на следствии в Чеке показаний, указав, что подписи были даны ими в результате страшных пыток. Трибунал опросил отряд особого назначения при Чеке... Оказалось, что истязания и пытки обычное явление и применялись в Чеке, как общее правило». В зале заседаний раздавались «плач и рыдания многочисленной публики» — передает корреспондент «Воли России». «Буржуазные рыдания», как назвал их обвинитель, в данном случае подействовали на судей, и протестовал сам трибунал... Не так давно в московских «Известиях» мы смогли прочесть о заседаниях омского губернского суда, где 29-го ноября разбиралось дело начальника первого района уездной милиции Германа, милиционера Щербакова и доктора Троицкого, обвинявшихся в истязании арестованных... Жгли горячим сургучом ладони, предплечья, лили сургуч на затылок и на шею, а затем срывали вместе с кожей. «Такие способы воздействия, напоминающие испанскую инквизицию, совершенно недопустимы», — морализировал во время процесса председатель суда. Но пытки эти в сущности узаконены. «Социалистический Вестник» дает в этой области исключительную иллюстрацию. Корреспондент журнала пишет:

«В связи с давними слухами и обнаруживающимися фактами весной этого года гу-

бернским трибуналом г. Ставрополя была образована комиссия для расследования *пытток, практикуемых в уголовном розыске*. В комиссию вошли — общественный обвинитель при трибунале Шапиро и следователь-докладчик Олышанский.

Комиссия установила, что помимо обычных избиваний, подвешиваний и других истязаний, при ставропольском уголовном розыске существуют:

1) «Горячий подвал», состоящий из глухой, без окон, камеры в подвале, — 3 шага в длину, $1\frac{1}{2}$ в ширину. Пол состоит из двух-трех ступенек. В эту камеру, в виде пытки, заключают 18 человек, так что все не могут одновременно поместиться, стоя ногами на полу, и некоторым приходится повисать, опираясь на плечи других узников. Естественно, воздух в этой камере такой, что лампа моментально гаснет, спички не зажигаются. В этой камере держат по 2—3 суток, не только без пищи, но и без воды, не выпуская ни на минуту, даже для отправления естественных надобностей. Установлено, что в «горячий подвал», вместе с мужчинами сажали и женщин (в частности, Вейцман).

2) «Холодный подвал». Это — яма от бывшего ледника. Арестованного раздевают почти донага, спускают в яму по передвижной лестнице, затем лестницу вынимают, а на заключенного сверху льют воду. Практикуется это зимой в морозы. Установлены случаи, когда на заключенного выливали по 8 ведер воды (в числе других этому подвергались Гурский и Вайнер).

3) «Измерение черепа». Голову допрашиваемого туго обвязывают шпагатом, продевается палочка, гвоздь или карандаш, от вращения которого окружность бечевки суживается. Постепенным вращением все сильнее сжимают череп, вплоть до того, что кожа головы вместе с волосами отделяется от черепа.

Рядом с этими пытками для получения «сознания», установлены убийства агентами розыска арестантов якобы при попытке побега (так убит в апреле 1922 г. Матрюков).

Все эти факты были установлены показаниями потерпевших и свидетелей, данными судебно-медицинской экспертизы, вскрытием

трупов и *сознанием агентов, производивших пытки* и показавших, что действовали по приказу начальника уголовного розыска Григоровича (он же член Ставропольского Исполкома, член Губкома Р.К.П. и заместитель начальника местного Госполитуправления), его помощника Повецкого и юрисконсульта (!!) розыска Топышева. Пытки производились под личным их руководством и при личном участии.

Трибунал постановил привлечь виновных к ответственности и отдал приказ об их аресте. Однако, *никого арестовать не удалось*, так как начальник губполитупр. Чернобровый укрыл преступников в общежитии госполитуправления и предъявил *секретный циркуляр В.Ч.К.*, в котором, между прочим, говорилось, что, *если при производстве дознания или предварительного следствия к сознанию обвиняемых не приведут очные ставки, улики и «обычные угрозы», то рекомендуется «старое испытанное средство».*

* * *

...Мы узнаем о всех этих фактах редко и случайно. При безнаказанности начальства заключенным опасно жаловаться даже в тех редких случаях, когда это возможно. Мне лично раз только пришлось присутствовать в Бутырской тюрьме при избивании следователем подследственного. Я только слышал мольбу последнего — молчать. И врачи без опасения не могут констатировать факт нанесения побоев — доктор Щеглов, выдавший медицинское свидетельство некоторым социалистам, избитым в Бутырской тюрьме, за это был немедленно отправлен в жестокую ссылку.

До нас доходят сведения, когда жертвами произвола становятся партийные люди. Так мы узнаем, что в Тамбове высекли 18-летнюю с.-р. Лаврову, что та же судьба постигла жену с.-р. Кузнецова, когда не удалось узнать местопребывания ее мужа. Так мы узнаем, что с.-р. Трейгер в Семипалатинске был посажен в «ящик» — длиной в три шага и шириной в два, где он сидел вместе с сумасшедшим китайцем-убийцей. Левый с.-р. Шебалин, в письме, пересланном нелегальным

путем, рассказывает, как его истязали в Петербурге: били по рукам и ногам рукояткой револьвера, мяли и давили глаза и половые органы (до потери сознания), били особо усовершенствованным способом — так, чтобы не было следов, «без крови» (кровь шла горлом)! Я хорошо знаю Шебалина, пробыв с ним более полугода в заключении в Бутырской тюрьме. Это человек, не способный ни к лжи, ни к преувеличениям. «Не забывайте, что я пишу из застенка, перед которым по своему режиму и применению особых мер воздействия к заключенным бледнеют русские Бастилии — Шлиссельбург и Петропавловка, где в старое время мне пришлось томиться в одном из казематов как государственному преступнику» — пишет Шебалин. И он рассказывает об особо усовершенствованном избрании камер «пробок» на Гороховой, т. е. Петроградской Чеки (тесные, холодные одиночки, наглухо закупориваемые стенами, обложенными пробками — отсюда никакой звук не доносится). В этих изолированных камерах идут допросы заключенных с «вымораживанием», «прижиганием огнем» и пр. В этих «пробках» держат обыкновенно 5—10 дней, но нередко держат и по месяцу.

«Избиение ногами, винтовкой, револьвером — замечает С. С. Маслов в своей книге, написанной в значительной степени на основании материала, вывезенного им из России, — в счет не идут, они общеприняты и повсеместны». И автор приводит яркую иллюстрацию, не имеющую в данном случае отношения к политике. Тем характернее она для «коммунистического» правосудия, о новых принципах которого так много пишут хвалебного в советской прессе. Ведь там преступников не наказывают, а исправляют. «В мае 1920 г., — рассказывает С. С. Маслов, — в Москве была арестована группа детей (карманных воров) в возрасте от 11 до 15 лет. Их посадили в подвал и держали изолированно от других, но всю группу вместе. «Чрезвычайка» решила использовать арест во всю. От детей стали требовать — сначала угрозами и обещаниями наград, выдачи других карманных воров. Дети отзывались незнанием. После нескольких бесплодных допросов в

камеру, где сидели дети, вошло несколько служащих и началось жестокое избиение. Били сначала кулаками, потом, когда дети попадали, их били каблуками сапог. Дети обещали полную выдачу. Так как фамилии товарищей дети не знали, то их возили каждый день по улицам в автомобилях, трамваях, водили на вокзалы. Первый день дети попробовали никого не указать. Тогда вечером было повторено избиение, еще более жестокое, чем прежде. Дети начали выдавать. Если день был неудачный, и ребенок не встречал или не указывал товарища по ремеслу, вечером он был избиваем. Попытка тянулась две недели. Дети, чтобы избежать битья, начали оговаривать незнакомых и невинных. Через три недели их перевезли в Бутырскую тюрьму. Худые, избитые, в рваном платье, с постоянным застывшим испугом на личиках, они были похожи на затравленных зверьков, видящих неминуемую и близкую смерть. Они дрожали, часто плакали и отчаянно кричали во сне. После 2—3-недельного сидения в Бутырской тюрьме, дети снова были взяты в «чрезвычайку». Долгие тюремные сидельцы говорили мне, что за все время их ареста, за всю жизнь, за время даже царской каторги, они не слышали таких отчаянных криков, как крики этих детей, понявших, что их снова везут в подвал, и не испытывали такой жгучей злобы, как от этого издевательства над ворами-детьми. Тюрьма плакала, когда обезумевших и воющих детей вели по коридорам, потом по двору тюрьмы...

РАЗНУЗДАННОСТЬ ПАЛАЧЕЙ

Для того, чтобы отчетливее представить себе сущность «красного террора», мы должны воспринять циничность форм, в которые он вылился — не только то, что людей виновных и невинных, политических противников и безразличных расстреливали, но и как их расстреливали. Эта внешняя оболочка, быть может, важнее даже для понимания так называемого «красного террора».

Перед нами прошел уже садист в полном смысле слова — харьковский Саенко. Несколько

ко слов о его помощнике — матросе Эдуарде, рассказывает Карелин: знаменит был тем, что, дружески разговаривая с заключенными, смеясь беззаботным смехом, умел артистически «кончить» своего собеседника выстрелом в затылок.

Таким же зверем изображает осведомленный в одесских делах Авербух председателя местной Чеки Калинченко. О его «причудах» и диких расправах рассказывали целые легенды: однажды во время празднования своих именин К. приказал доставить из тюрьмы «трех самых толстых буржуев». Его приказ был исполнен, и он в каком-то пьяном экстазе тут же убивает их из револьвера.

«Мне как-то раз пришлось посетить кафе «Астра» по Преображенской улице, посещаемое исключительно большевистскими служащими» — пишет Авербух. — «И здесь мне совершенно неожиданно пришлось выслушать рассказ известного палача «Васьки» о том, как он расправился с двумя буржуями, как они корчились и метались в предсмертных судорогах, как они целовали у него руки и ноги и как он все-таки исполнил свой революционный долг». Среди одесских палачей был негр Джонстон, специально выпущенный из Москвы. «Джонстон был синонимом зла и изуверства...» «Сдирать кожу с живого человека перед казнью, отрезать конечности при пытках и т. п. — на это способен был один палач негр Джонстон». Он ли один?

...С Джонстоном могла конкурировать в Одессе лишь женщина-палач, молодая девушка Вера Гребенюкова («Дора»). О ее тиранствах также ходили легенды. Она «буквально терзала» свои жертвы: вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши, выворачивала скулы и т. д. Чтобы судить о ее деятельности, достаточно привести тот факт, что в течение двух с половиной месяцев ее службы в чрезвычайке ею одной было расстреляно 700 с лишним человек, т. е. почти треть расстрелянных в Ч.К. всеми остальными палачами.

В Киеве расстреливаемых заставляли ложиться ничком в кровавую массу, покрывавшую пол, и стреляли в затылок и размозжали череп... Заставляли ложиться одного

на другого еще только что пристреленного. Выпускали намеченных к расстрелу в сад и устраивали там охоту на людей. И отчет киевских сестер милосердия тоже регистрирует такие факты. «В «лунные, ясные летние ночи», «холеный, франтоватый» комендант губ. Ч.К. Михайлов любил непосредственно сам охотиться с револьвером в руках за арестованными, выпущенными в голом виде в сад. Французская писательница Одетта Кён, считающая себя коммунисткой и побывавшая по случайным обстоятельствам в тюрьмах Ч.К. в Севастополе, Симферополе, Харькове и Москве, рассказывает в своих воспоминаниях со слов одной из заключенных о такой охоте за женщинами даже в Петрограде (она относит этот, казалось бы, маловероятный факт к 1920 г.!!). В той же камере, что и эта женщина, было заключено еще 20 женщин контр-революционерок. Ночью за ними пришли солдаты. Вскоре послышались нечеловеческие крики, и заключенные увидели в окно, выходящее во двор, всех этих 20 женщин, посаженных голыми на дрожь. Их отвезли в поле и приказали бежать, гарантируя тем, кто прибежит первыми, что они не будут расстреляны. Затем они все были перебиты...

В Брянске, как свидетельствует С. М. Волконский в своих воспоминаниях, существовал «обычай» пускать пулю в спину после допроса. В Сибири разбивали головы «железной колотушкой»... В Одессе — свидетельствует одна простая женщина в своих показаниях — «во дворе Ч.К. под моим окном поставили бывшего агента сыскальной полиции. Убивали дубинкой или прикладом. Убивали больше часа. И он умолял все пощадить». В Екатеринославе некий Валявка, расстрелявший сотни «контр-революционеров», имел обыкновение выпускать «по десять-пятнадцать человек в небольшой, специальным забором огороженный двор». Затем Валявка с двумя-тремя товарищами выходит на середину двора и открывал стрельбу.

В том же Екатеринославе председатель Ч.К., «тов. Трепалов», ставил напротив фамилий, наиболее ему не понравившихся, сокращенную подпись толстым карандашом «рас», что означало — расход, т. е. расстрел; ста-

вил свои пометки так, что трудно было в отдельных случаях установить, к какой собственно фамилии относятся буквы «рас». Исполнители, чтобы не «копаться» (шла эвакуация тюрьмы), расстреляли весь список в 50 человек по принципу: «вали всех».

Петроградский орган «Революционное Дело» сообщал такие подробности о расстреле 60 по Таганцевскому делу.

«Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж. д. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму и по яме была открыта стрельба.

На кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненные, была засыпана землей».

Вот палачи московские, которые творят в специально приспособленных подвалах с асфальтовым полом с желобом и стоками для крови свое ежедневное кровавое дело. Их образ запечатлен в очерке «Корабль смерти», посвященном в сборнике «Чека» описанию казней уголовных, так называемых бандитов. Здесь три палача: Емельянов, Панкратов, Жуков, все члены российской коммунистической партии, живущие в довольстве, сытости и богатстве. Они, как и все вообще палачи, получают плату поштучно: им идет одежда расстрелянных и те золотые и пр. вещи, которые остались на заключенных; они «выламывают у своих жертв золотые зубы», собирают «золотые кресты» и пр.

С. С. Маслов рассказывает о женщине-палаче, которую он сам видел. «Через 2—3 дня она регулярно появлялась в Центральной Тюремной больнице Москвы (в 1919 г.) с папироской в зубах, с хлыстом в руках и револьвером без кобуры за поясом. В палаты, из которых заключенные брались на расстрел, она всегда являлась сама. Когда больные, пораженные ужасом, медленно собирали свои вещи, прощались с товарищами или принимались плакать каким-то страшным во-

ем, она грубо кричала на них, а иногда, как собак, била хлыстом... Это была молоденькая женщина... лет 20—22». Были и другие женщины-палачи в Москве. С. С. Маслов, как старый деятель вологодской кооперации и член Учредительного Собрания от Вологодской губ., хорошо осведомленный о вологодских делах, рассказывает о местном палаче (далеко не профессионале) Ревекке Пластининой (Майзель), бывшей когда-то скромной фельдшерницей в одном из маленьких городков Тверской губ., расстрелявшей собственноручно свыше 100 человек. В Вологде чета Кедровых — добавляет Е. Д. Кускова, бывшая в это время там в ссылке — жила в вагоне около станции. В вагонах происходили допросы, а около них расстрелы. При допросах Ревекка была по щекам обвиняемых, орала, стучала кулаками, иступленно и кратко отдавала приказы: «к расстрелу, к расстрелу, к стенке!» «Я знаю до десяти случаев, — говорит Маслов — когда женщины добровольно «дырявили затылки». О деятельности в Архангельской губ. весной и летом 1920 г. этой Пластининой-Майзель, бывшей женой знаменитого Кедрова, корреспондент «Голоса России» сообщает:

«После торжественных похорон пустых, красных гробов началась расправа Ревекки Пластининой со старыми партийными врагами. Она была большевичка. Эта безумная женщина, на голову которой сотни обездоленных матерей и жен шлют свое проклятье, в своей злобе превзошла всех мужчин Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Она вспоминала все маленькие обиды семьи мужа и буквально распяла эту семью, а кто остался не убитым, тот убит морально. Жестокая, истеричная, безумная, она придумала, что ее белые офицеры хотели привязать к хвосту кобылы и пустить лошадь вкачь, уверовала в свой вымысел, едет в Соловецкий монастырь и там руководит расправой вместе со своим новым мужем Кедровым. Дальше она настаивает на возвращении всех арестованных комиссией Эйдука из Москвы, и их по частям увозят на пароходе в Холмогоры, усыпальницу русской молодежи, где, раздевши, убивают их на баржах и топят в

море. Целое лето город стонал под гнетом террора».

...Как ни обычно «работа» палачей — наконец, человеческая нервная система не может выдержать. И казни совершают палачи преимущественно в опьяненном состоянии — нужно состояние «невменяемости», особенно в дни, когда идет действительно своего рода бойня людей. Я наблюдал в Бутырской тюрьме, что даже привычная уже к расстрелу администрация, начиная с коменданта тюрьмы, всегда обращалась к наркотикам (кокаин и пр.), когда приезжал так называемый «комиссар смерти» за своими жертвами и надо было вызывать обреченных из камер.

«Почти в каждом шкафу — рассказывает Нилостонский про Киевские чрезвычайки — почти в каждой ящике нашли мы пустые флаконы из-под кокаина, кое-где даже целые кучи флаконов».

В состоянии невменяемости палач терял человеческий образ.

«Один из крупных чекистов рассказывал — передает авторитетный свидетель — что главный (московский) палач Мага, расстрелявший на своем веку не одну тысячу людей (чекист, рассказывавший нам, назвал невероятную цифру в 11 тысяч расстрелянных рукой Мага), как-то закончив «операции» над 15—20 человеками, набросился с криками «раздевайся, такой сякой» на коменданта тюрьмы Особого Отдела В.Ч.К. Попова, из любви к искусству присутствовавшего при этом расстреле. «Глаза, налитые кровью, весь ужасный, обрызганный кровью и кусочками мозга, Мага был совсем невменяем и ужасен» — говорил рассказчик. «Попов струсил, бросился бежать, поднялась свалка и только счастье, что своевременно подбежали другие чекисты и скрутили Мага»...

И все-таки психика палача не всегда выдерживала. В упомянутом отчете сестер милосердия Киевского Красного Креста рассказывается, как иногда комендант Ч.К. Авдохин не выдерживал и исповедывался сестрам. «Сестры, мне дурно, голова горит... Я не могу спать... меня всю ночь мучают мертвецы»... «Когда я вспоминаю лица членов Чека: Авдохина, Терехова, Асмолова, Никифорова,

Угарова, Абнавера и Гусига, я уверена, — пишет одна из сестер, — что это были люди ненормальные, садисты, кокаинисты — люди, лишенные образа человеческого». В России в последнее время в психиатрических лечебницах зарегистрирована как бы особая «болезнь палачей», она приобретает массовый характер — мучающая совесть и давящие психику кошмары захватывают десятки виновных в пролитии крови. Наблюдатели отмечают нередкие сцены таких припадков у матросов и др., которые можно видеть, напр., в вокзальных помещениях на железных дорогах. Корреспондент «Дней» из Москвы утверждает, что «одно время Г.П.У. пыталось избавиться от этих сумасшедших путем расстрела их, и что несколько человек таким способом были избавлены от кошмара душивших их галлюцинаций»...

* * *

Смерть стала слишком привычна. Мы говорили уже о тех типичных эпитетах, которыми сопровождают обычно большевистские газеты сообщения о тех или иных расстрелах. Такой упрощенно-циничной становится вся вообще терминология смерти: «пустить в расход», «разменять» (Одесса) «идите искать отца в Могилевскую губернию», «отправить в штаб Духонина», Вуль «сыграл на гитаре» (Москва), «больше 38 я не мог запечатать», т. е. собственноручно расстрелять (Екатеринослав), или еще грубее: «нацокал» (Одесса), «отправить на Машук — фиалки нюхать» (Пятигорск); комендант петроградской Чека громко говорит по телефону жене: «Сегодня я везу рябчиков в Кронштадт».

Также упрощенно и цинично совершается, как мы много раз уже отмечали, и самая казнь. В Одессе объявляют приговор, раздевают и вешают на смертника дощечку с номером. Так по №№ по очереди и вызывают. Заставляют еще расписываться в объявлении приговора. В Одессе нередко после постановления о расстреле обходили камеры и собирали биографические данные для газетных сообщений. Эта «законность» казни соблюдается в Петрограде, где о приговорах объявляется в особой «комнате для приезжа-

ющих». Орган центрального комитета коммунистической партии «Правда» высмеивал сообщения английской печати о том, что во время казни играет оркестр военной музыки. Так было в дни террора в 1918 г. Так расстреливали в Москве «царских министров», да не их одних. Тогда казнили на Ходынском поле и расстреливали красноармейцы. Красноармейцев сменили китайцы. Позже появился как бы институт наемных палачей — профессионалов, к которым время от времени присоединялись любители-гастролеры.

...Не могу не привести еще одного описания расстрелов в московской Ч.К., помещенного в № 4 нелегального бюллетеня левых с.-р. Относится это описание к тому времени, когда «велись» прения о правах и прерогативах Ч.К. и Рев. Трибуналов», т. е. о праве Ч.К. выносить смертные приговоры. Тем характернее картины, нарисованные пером очевидцев:

«Каждую ночь, редко когда с перерывом, водили и водят смертников «отправлять в Иркутск». Это ходкое словечко у современной «причины». Везли их прежде на Ходынку. Теперь ведут сначала в № 11, а потом из него в № 7 по Варсонофьевскому переулку. Там вводят осужденных — 30 — 12 — 8 — 4 человека (как придется) — на 4-й этаж. Есть специальная комната, где раздевают до нижнего белья, а потом раздетых ведут вниз по лестницам. Раздетых ведут по нижнему двору, в задний конец, к штабелям дров и там убивают в затылок из нагана.

...Снег на дворе весь красный и бурый. Все забрызгано кругом кровью. Устроили снеготаялку, благо — дров много, жгут их на дворе и улице в кострах полсаженями. Снеготаялка дала жуткие кровавые ручьи.

Ручей крови перелился через двор и пошел на улицу, перетек в соседние места. Спешно стали закрывать следы. Открыли какой-то люк и туда спускают этот темный страшный снег, живую кровь только что живших людей!..»

Большевики гордо заявляют: «у нас гильотины нет». Не знаю, что лучше: казнь явная или казнь в тайниках, в подвалах, казнь под

звук моторов, чтобы заглушить выстрелы... Пусть ответят на это другие...

Только человек, находящийся во власти совершенно исключительного политического изуверства, потерявший все человеческие чувства, может не отвернуться с отвращением от тех форм, при которых произошло убийство царской семьи в Екатеринбурге. Родители и дети были сведены ночью в одну комнату и все перебиты на глазах друг у друга. Как описывает красноармеец Медведев, один из очевидцев «казни» в своих показаниях, данных следствию в феврале 1919 г., приговоренные к казни шли медленно и «видимо все догадывались о предстоящей им участи». История не знает другой картины убийства, подобной той, которой ознаменовалась екатеринбургская ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

СМЕРТНИКИ

Смертная казнь в России действительно стала «бытовым явлением». Мы знаем, что когда-то люди всходили на гильотину с пением марсельезы... В России, приговоренные к смерти левые с.-р. в Одессе, положенные связанными на грузовик под тяжестью 35 тел, нагруженных поперх, поют свою марсельезу. Может быть, в самой тюрьме эта обыденность смерти ощущается наиболее остро. В сборнике «Че-Ка» есть яркие страницы, описывающие переживания заключенного, попавшего в камеру смертников.

«В страшную камеру под сильным конвоем нас привели часов в 7 вечера. Не успели мы оглядеться, как лязгнул засов, закричала железная дверь, вошло тюремное начальство, в сопровождении тюремных надзирателей.

— Сколько вас здесь? — окидывая взором камеру — обратилось к старосте начальство.

— Шестьдесят семь человек.

— Как шестьдесят семь? Могилу вырыли на девяносто человек, — недоумевая, но совершенно спокойно, эцически, даже как бы нехотя протянуло начальство.

Камера замерла, ощущая дыхание смерти. Все как бы оцепенело.

— Ах, да, — спохватилось начальство, — я

забыл, тридцать человек будут расстреливать из Особого Отдела.

Потянулись кошмарные, бесконечные, длинные часы ожидания смерти. Бывший в камере священник каким-то чудом сохранил нагрудный крест, надел его, упал на колени и начал молиться. Многие, в том числе один коммунист, последовали его примеру. В камеру доносились звуки расстроенного рояля, слышны были избитые вальсы, временами сменявшиеся разухабисто веселыми русскими песнями, раздирая и без того больную душу смертников — это репетировали культ-просветники в помещении бывшей тюремной церкви, находящейся рядом с нашей камерой. Так по злой иронии судьбы переплеталась жизнь со смертью.

«В камеру доносились звуки расстроенного рояля»... Действительно жутко в «преддверии могилы». И эту «психическую пытку» испытывает всякий, на глазах у кого открыто готовят расстрел. Я помню один вечер в июле 1920 г. в Бутырской тюрьме. Я был в числе «привилегированных» заключенных. Поздно вечером на тюремном дворе, когда он был уже пуст, случайно мне пришлось наблюдать картину — не знаю жуткую или страшную, но по своему неестественному контрасту врезающуюся в память, как острая игла.

В тюремном коридоре, где были заключенные коммунисты, шло разухабистое веселье — рояль, цыганские песни, рассказчик анекдотов. Это был вечер с артистами, устроенный администрацией для преступников в «доме лишения свободы». Песни и музыка неслись по тюремному двору. Я молча сидел, и нечаянно глаза обратились на «комнату душ». Здесь у решетки я увидел исковерканный судорогами облик, прильнувший к окну и жадно хватавший воздух губами. То была одна из жертв, намеченных к расстрелу в эту ночь. Было их несколько, больше 20, и ждали они своего черед. «Комиссар смерти» увозил их небольшими группами...

А сами смертники? — Одни молчаливо идут на убой, без борьбы и протеста в глубокой апатии дают себя связывать проволокой.

«Если бы вы видели этих людей, приговоренных и ведомых на казнь,— пишет сестра

Медведева — они были уже мертвы...» Другие унижительно, безуспешно молят палачей; третьи активно борются и избитые насильно влекутся в подвал, где ждет их рука палача. Надо ли приводить соответствующую вереницу фактов. «Жутко становилось, за сердце захватывало,— пишет Т. Г. Куракина в своих воспоминаниях про Киев,— когда приходили вечером за приговоренными к расстрелу несчастными жертвами. Глубокое молчание, тишина воцарялись в комнате, эти несчастные обреченные умели умирать; они шли на смерть молча, с удивительным спокойствием — лишь по бледным лицам и одухотворенному взгляду чувствовалось что-то не от мира сего. Но еще более тяжелое впечатление производили те несчастные, которые не хотели умирать. Это было ужасно. Они сопротивлялись до последней минуты, цеплялись руками за нары, за стены, за двери; конвоиры грубо толкали их в спины, а они плакали, кричали обезумевшим от отчаяния голосом,— но палачи безжалостно тащили их, да еще глумились над ними, приговаривая: что, не хочешь к стенке стать? не хочешь,— а придется». Очевидно не из-за страха смерти, а в ужасе перед палачеством многие пытаются покончить с собой самоубийством перед расстрелом. Я помню в Бутырьках татарина, мучительно перерезавшего себе горло кусочком стекла в минуты ожидания увода на расстрел. Сколько таких фактов самоубийств, вплоть до самосожжения, зарегистрировано уже, в том числе и в сборнике «Че-Ка», в материалах Деникинской комиссии...

И когда в таких условиях поднимается рука мстителя, может ли общественная совесть вынести осуждение акту мщения по отношению тех, кто явился творцом всего сказанного? Мне вспоминаются слова великого русского публициста Герцена, написанные более 50 лет тому назад. Вот эти строки:

«Вечером 26-го июня мы услышали после победы Национала под Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все глянули друг на друга; у всех лица были зеленые...» «Ведь это расстреливают», сказали мы в один голос и отвернулись друг от

друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десятки лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощает такие минуты*».

То были безоружные враги, а здесь... самые близкие родные...

В воспоминаниях С. М. Устинова есть описание жуткой сцены: «на главной улице, впереди добровольческого отряда крутилась в безумной, дикой пляске растерзанная, босая женщина... Большевики, уходя в эту ночь, расстреляли ее мужа...»

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ЖЕНЩИНАМИ

Прочтите сообщения о насилиях, творимых над женщинами, и удивитесь ли вы неизбежной, почти естественной мести.

В той изумительной книге, которую мы так часто цитируем, и в этом отношении мы найдем немало конкретного материала. Не достаточно ли сами по себе говорят нижеследующие строки о том, что вынуждены терпеть женщины в Холмогорском концентрационном лагере.

«...Кухарки, прачки, прислуга берутся в администрацию из числа заключенных, а притом нередко выбирают интеллигентных женщин. Под предлогом уборки квартиры помощники коменданта (так поступал, напр., Окрен) вызывают к себе девушек, которые им приглянулись, даже в ночное время... И у коменданта и у помощников любовницы из заключенных. Отказаться от каких-либо работ, ослушаться администрацию — вещь недопустимая: заключенные настолько запуганы, что безропотно выносят все издевательства и грубости. Бывали случаи протеста — одна из таких протестанток, открыто выражавшая свое негодование, была расстреляна (при Бачулисе). Раз пришли требовать к коменданту интеллигентную девушку, курсистку, в три часа ночи; она резко отказалась идти и что же — ее же товарки стали умолять ее не отказываться, иначе и ей и им — всем будет плохо».

В Особом Отделе Кубанской Чеки, «когда женщин водят в баню, караул устанавлива-

ется не только в раздевалке, но и в самой бане...» Припомните учительницу Домбровскую, изнасилованную перед расстрелом... Одну молодую женщину, приговоренную к расстрелу за спекуляцию, начальник контрразведки Кисловодской Ч.К. «изнасиловал, затем зарубил»... В Черниговской сатрапии, как рассказывает достоверный свидетель в своих ненапечатанных еще воспоминаниях — при расстреле жены ген. Ч. и его двадцатилетней дочери, последняя предварительно была изнасилована. Так рассказывали свидетелю шоферы, возившие их на место убийства...

Вокруг женщин, бившихся в истерике на полу, толпились их палачи. Пьяный смех и матерщина. Грязные шутки, расстегивание платья, обыск... «Не троньте их» — говорил дрожащим от испуга голосом старший по тюрьме, не чекист, а простой тюремный служащий. «Я ведь знаю, что вам нельзя доверять женщин перед расстрелом...» Это из описания ночи расстрела в Саратове 17-го ноября 1919 года. Об изнасиловании двух социалисток в Астрахани мы читаем сообщение в «Революционной России».

Так повсеместно. Недавно в выходящем в Берлине «Анархическом Вестнике» одна из высланных анархисток рассказывала о Вологодской пересыльной тюрьме: «Уходя надзирательница предупредила нас, чтобы мы были настороже: ночью к нам может придти с известными целями надзиратель или сам заведующий. Таков уже был обычай. Почти всех приходящих сюда с этапам женщины используют. При этом почти все служащие больны и заражают женщин... Предупреждение оказалось не напрасным...»

Я помню в Бутырках в мужском одиночном корпусе, где было отделение строгой тюрьмы Особого Отдела, произошел случай изнасилования заключенной. Конвой объяснил, что арестованная добровольно отдалась за 1/2 фунта хлеба. Пусть будет так. За полфунта плохого черного хлеба? Об изнасилованиях в Петербурге говорит Синовари в своих показаниях на процессе Конради.

Но вот материалы иного рода из деятельности той же Кубанской Чрезвычайной Комиссии.

«Этот маленький станичный царек, в руках которого была власть над жизнью и смертью населения, который совершенно безнаказанно производил конфискации, реквизиции и расстрелы граждан, был пресыщен прелестями жизни и находил удовольствие в удовлетворении своей похоти. Не было женщины, интересной по своей внешности, попавшейся случайно на глаза Сараеву и не изнасилованной им. Методы насилия весьма просты и примитивны по своей дикости и жестокости. Арестовываются ближайшие родственники намеченной жертвы — брат, муж или отец, а иногда и все вместе, приговариваются к расстрелу. Само собой разумеется, начинаются хлопоты, обивание порогов «сильных мира». Этим ловко пользуется Сараев, делая гнусное предложение в ультимативной форме: или отдается ему за свободу близкого человека, или последний будет расстрелян. В борьбе между смертью близкого и собственным падением, в большинстве случаев жертва выбирает последнее...

...Фактов эротического характера можно привести без конца. Все они шаблонны и все свидетельствуют об одном — бесправии населения и полном, совершенно безответственном произволе большевистских властей...

* * *

...В Саратове за городом есть страшный овраг — здесь расстреливают людей. Впрочем, скажу о нем словами очевидца из той изумительной книги, которую мы несколько раз цитировали и на которую будем еще много раз ссылаться.

Это книга «Че-Ка», материалы о деятельности чрезвычайных комиссий, изданная в Берлине партией социалистов-революционеров (1922 г.). Исключительная ценность этой книги состоит в том, что здесь собран материал иногда из первых рук, иногда в самой тюрьме от потерпевших, от очевидцев, от свидетелей; она написана людьми, знающими непосредственно то, о чем приходится им гово-

рить. И эти живые впечатления говорят иногда больше, чем кипы сухих бумаг. Многих из этих людей я знаю лично и знаю, как тщательно они собирали свои материалы. «Че-Ка» останется навсегда историческим документом для характеристики нашего времени, и притом документом исключительной яркости. Один из саратовцев и дает нам описание оврага около Монастырской слободки, оврага, где со временем будет стоять, вероятно, памятник жертвам революции.

«К этому оврагу, как только стает снег, опасливо озираясь идут группами и в одиночку родственники и знакомые погибших. Вначале за паломничества там же арестовывали, но приходивших было так много... и несмотря на аресты они все-таки шли. Вешные воды, размывая землю, вскрывали жертвы коммунистического произвола. От перекинутого мостика, вниз по оврагу на протяжении сорока-пятидесяти саж., горами навалены трупы. Сколько их? Едва ли кто может это сказать. Даже сама чрезвычайка не знает. За 1918 и 1919 г. было расстреляно по спискам и без списков около 1500 человек. Но на овраг возили, только летом и осенью, а зимой расстреливали где-то в других местах. Самые верхние — расстрелянные предыдущей поздней осенью — еще почти сохранились. В одном белье, со скрученными веревкой назад руками, иногда в мешке или совершенно раздетые...

Жутко и страшно глядеть на дно страшного оврага! Но смотря, напряженно смотрят пришедшие, разыскивая глазами хоть какой-либо признак, по которому бы можно было узнать труп близкого человека...

«...И этот овраг с каждой неделей становится страшнее и страшнее для саратовцев. Он поглощает все больше и больше жертв. После каждого расстрела крутой берег оврага обсыпается, в ночь засыпая трупы; овраг становится шире. Но каждой весной вода открывает последние жертвы расстрела...

О С. П. МЕЛЬГУНОВЕ И ЕГО КНИГЕ (ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ)

Традиционный метод разработки какой-либо темы в исторической науке — это скрупулез-

ный поиск источников, их выявление, описание, критика. На образованной таким образом

базе пишутся научные статьи, создаются монографии, строятся концепции. Потом те или иные версии событий обкатываются в научно-популярной литературе, переходят в вузовские и школьные учебники — и так осваиваются массовым сознанием.

XX век, с его катастрофическими провалами в исторической памяти, дал нам другую модель перехода от незнания к знанию. Новейший пример тому — «Архипелаг ГУЛАГ», книга, которая одним толчком перевела стрелку общественного мнения от равнодушного нуля к высшей степени сопричастности. Это вовсе не означает, что Солженицын выполнил за историков всю их работу и исчерпал тему. Наоборот, он открыл ее для общества вообще и для профессиональной работы историков в частности. Вот теперь надо поднимать архивные пласты, составлять описания и справочники, сличать тексты и т. п. Но помнить, что в начале была книга. Книга, открывшая тему, но отнюдь не исчерпавшая ее. (Отдельный и достаточно важный вопрос — историковедческое исследование самой книги: методика использования первичных текстов, проверка их адекватности фактам и т. д.).

Надо признать, «основополагающие» книги редко отвечают строгим правилам академической науки. Да, честно сказать, и не издаются они далекими от мира летописцами, которые исполняют свой труд, «добру и злу внимая равнодушно», а пишутся раскаленным пером в экстремальных внешних или, по крайней мере, духовных условиях. И пишут их не кабинетные теоретики, а политики, борцы, проповедники.

Книга С. П. Мельгунова «Красный террор в России: 1918—1923», изданная впервые в 1923 году в Берлине, схожа с трудом А. И. Солженицына по многим параметрам. И по теме — Мельгунов описывает начальный период того процесса расчеловечивания, апофеоз которого — покрывшие страну язвы Архипелага. И по моральной направленности: обе книги — синодик невинно убитых; Мельгунов начинает его, Солженицын продолжает. Похожи и судьбы обеих книг: обе они вышли на Западе и долгое время были недоступны

большинству читателей в СССР. Наконец, оба автора были высланы из страны и в лишении их гражданства большую роль сыграли именно эти книги (Мельгунова изгнали до написания «Красного террора», но лишили гражданства — а заодно и конфисковали оставленные коллекции и библиотеку — по выходе книги).

Признаки этих двух *несуществующих* для нашего читателя книг с двух сторон огородили пространство нашей *несуществующей* истории. Издание сначала «Архипелага», а теперь и «Красного террора» придает драме завершенность и врачует нашу память, возвращая ей утраченную цельность.

«Красный террор» создавался в накаленной исторической обстановке, в бурлящей среде русской эмиграции. Только что в Лозанне прозвучали выстрелы «белого» террориста Конради, убившего советского дипломата В. Воровского. Убийца объяснил свой поступок желанием «отомстить большевикам за зверства ВЧК». Суд над Конради превратился в процесс над ВЧК: один за другим свидетели, русские эмигранты, давали показания о том, что они сами или их друзья пережили в Советской России. Другая важная группа — эмигрантская литература самых разных политических направлений; третья — материалы советской печати. И, наконец, нельзя не упомянуть о четвертом источнике — личном архиве самого Мельгунова, который собирал материалы о жертвах красного террора по крайней мере с лета 1918 года. В добросовестности Мельгунова-историка нет никаких оснований сомневаться, так что этот последний источник заслуживает полного доверия. Советская пресса тоже едва ли давала фактический материал (в отличие от декларативного) для преувеличения ужасов «чрезвычайки». Конечно, первые две группы источников должны бы быть рассмотрены более критически, чем это делает Мельгунов. Но ведь автор и не скрывает своей пристрастности, его политическая ориентация в этой работе очевидна: Мельгунов — страстный и последовательный антибольшевик. Нельзя сказать, что он противник теории большевизма: к теории он, пожалуй, равнодушен. По мнению

Мельгунова, суть большевизма в его практике и практика эта, особенно практика умышленного террора («систематизированная ярость», как сказал В. Г. Короленко), вызывает у него непримиримое отвращение, косвенно переносимое на все и на всех, кто поддерживал или оправдывал большевиков.

...Мельгунов-историк и Мельгунов-политик, конечно же, не безгрешен: ненависть не способствует взвешенности суждений. Но Мельгунов-публицист, если и преувеличивал ужасы красного террора, то преувеличивал провидчески. В 1924 году правые видели в новой власти лишь последнюю ступень революционной эскалации, левые — группу фанатиков и доктринеров, приведших революцию к катастрофе, сменовеховцы — спасителей России, Мельгунов же не устает повторять: мы имеем дело с ситуацией, не имеющей прецедентов в мировой истории, никакие аналогии здесь неуместны, нет ничего невозможного там, где столь жестоко и декларативно поправны права человеческой личности.

История подтвердила его правоту; и хотя слово «тоталитаризм» еще не было придумано, Мельгунов удостоился печальной чести — быть первым историком нарождающегося тоталитарного строя.

Примерно за год до первого издания «Красного террора» в Москве вышел второй том сборника «Красная книга ВЧК», посвященный делу «Тактического центра» — группы, выполнявшей контактные функции между «контрреволюционными» организациями 1918—1919 гг. — «Национальным центром», «Союзом возрождения России», «Советом общественных деятелей» и некоторыми другими... Издание призвано было доказать историческую необходимость красного террора и его тактическую зависимость от террора белого. Недавно по инициативе КГБ СССР редкая книга была переиздана. Концепция, впрочем, если судить по предисловию проф. А. С. Велидова, осталась практически неизменной: так было надо и мы об этом не жалеем; несмотря на некоторые ошибки политика ВЧК была правильной и никакого отношения к репрессиям 1930—50-х гг. события 1918—1922 не имели. Не будем спо-

рить. Замечательно уже то, что диалог «Красной книги ВЧК» и «Красного террора» происходит не через баррикаду или через железный занавес, а в одной стране, в душах одних и тех же читателей — потомков тех, кто убивал и кого убивали. Между «исторической необходимостью» и защитой жизни и прав личности есть возможность социального выбора. Это обнадеживает.

* * *

Анализируя книгу, нельзя забывать, что автор ее — Сергей Петрович Мельгунов (1879—1956) — историк, и отнюдь не рядовой исследователь, а профессионал высокого класса. За первые полтора десятилетия нашего века им написано множество статей по истории общественного движения в России, подготовлено два сборника о взаимоотношении церкви и государства (1905—1906). Велика доля его участия в знаменитых коллективных изданиях: семитомнике «Великая реформа» (1911), шеститомнике «Отечественная война и русское общество» (1912), «Масонство в прошлом и настоящем» (Т. 1—3, 1914—1918). Под его редакцией печатается в 1913—1923 гг. один из лучших русских исторических журналов «Голос минувшего».

...Собирать и систематизировать материалы по истории революции и гражданской войны Мельгунов начал еще находясь в России: составление им персональной картотеки деятелей большевистской партии и Советского государства даже стало одним из пунктов его обвинения на процессе «Тактического центра». Результатом исторических разысканий Мельгунова в этой области, кроме «Красного террора», стало около десяти монографий. Среди них: «Трагедия адмирала Колчака» (Т. 1—3, 1930—31), «На путях к дворцовому перевороту» (1931), «Как большевики захватили власть» (1939), «Судьба императора Николая II после отречения» (1951), после смерти автора изданы «Легенда о сепаратном мире» (1957), «Мартовские дни 1917 года» (1961). Будем надеяться, что лучшие из этих книг появятся на родине автора в не слишком отдаленном будущем.

А. Даниэль, Н. Охотин

Владимир Ширяев

ЗЛО И ДОБРО

Зло по дороге брело,
пряча за пазухой камень.
Глядь — а навстречу Добро
с огромными кулаками.

И не успело Зло
злое содеять что-то,
как в лужу оно сползло,
сраженное апперкотом.

— Это тебе урок,—
чтоб не глядело недобро! —
так восклицало Добро,
пиная врага под ребра.

Специальным жгутом
руки ему связало.
В участок свело. А потом
весь вечер стихи писало.

* * *

Что жена — в наркологии,
а сынок — в трудколони,
мой сосед — ну хоть режь его! —
обвиняет Л. Брежнева.

В сорок лет — он развалина,
матерится и охает.
Утверждает: раздавлены
мы застойной эпохой.

— Не хочу вас воспитывать,
но прошу вас учитывать,
и в эпохи застойные
были люди достойные.

* * *

— Не ходи босиком,
нарушая закон!
Ты сейчас у меня
посидишь под замком!
Прекрати, хулиган,
разводить балаган!

Стали руки вязать...
Как мне им доказать,
что не вышел закон
не ходить босиком?

МЫСЛЯЩИЙ КАМЕНЬ

(философическое письмо
Сергею Климову)

Друг мой, снова буду я
утверждать уверенно:
камень — тоже думает,
только очень медленно.

Он других касается,
и о деле ближнего
мысли просыпаются
в глубине булыжника.

Мысли просыпаются...
Только для прозрения
не хватает времени —
камень рассыпается.

Ты — без вольной волюшки,
каменная долюшка!
Ну, а в нашей долюшке
разве меньше горюшка?

Гении, что умерли —
самые большие —
разве все додумали,
разве все решили?..

ПРОЩАНИЕ С ЭЗОПОВЫМ ЯЗЫКОМ

До свидания, Эзопов язык!
Мы уходим на новый зов!
Нет, а все-таки тот Эзоп
замечательный был мужик.

Если, скажем, начальник — дуб,
можно басню писать про Дуб.
Ну, а ежели он — свинья,
можно басню назвать: «Свинья».

Службу ты сослужил свою!
Только вот — ни одна свинья,
прочитав про себя, свинью,
не сказала себе: это я.

И пускай ты давно возник,
вечным быть — не твоя судьба.
До свиданья, Эзопов язык! —
Хитроумный язык раба.

Виктор Баянов

СЕНОКОСНОЮ ПОРОЙ

*С Ритой — нашей поварихою —
Мы сидели у костра...
И от этой от затрещины
Стало просто мне невмочь...*

Л. Гержидович
Сб. «Таволга»

Спит земля. Погода тихая.
После взбаламученного дня,
С Ритой — нашей поварихою —
Мы пригрелись у огня.

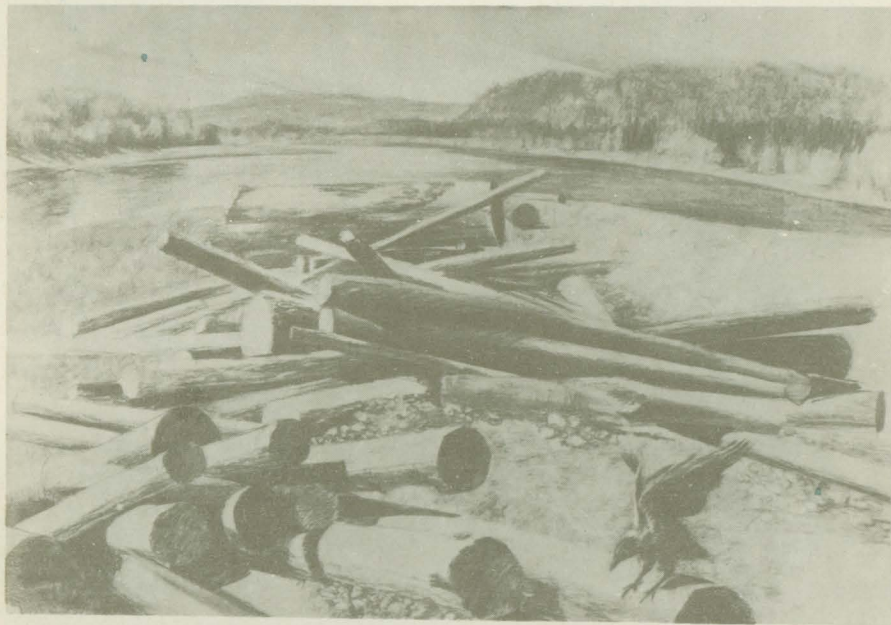
Жутью веет ночь совиная.
А иначе б почему
Повариха вдруг придвинулась
Ближе к боку моему.

Костерок распарил косточки.
А иначе — рассуди —
Отчего бы Рита кофточку
расстегнула на груди.

Сняв траву густую, спелую,
Развалилась горячо.
И меня рукою белою
Притянула: — Ну, ты чё?..

Я ж в тот миг про ночь и женщину
стал как раз стишок кропать.
Мне она дала затрещину
И ушла в палатку спать.

Я сижу, глазами лупая,
Удивляюсь: — Ну, комедь!
И чего озлилась, глупая,
Не могу уразуметь.



О. Чукина. «По Томи. Август», бум. у.

О. Чукина. «По Томи. Сентябрь», бум. у.

